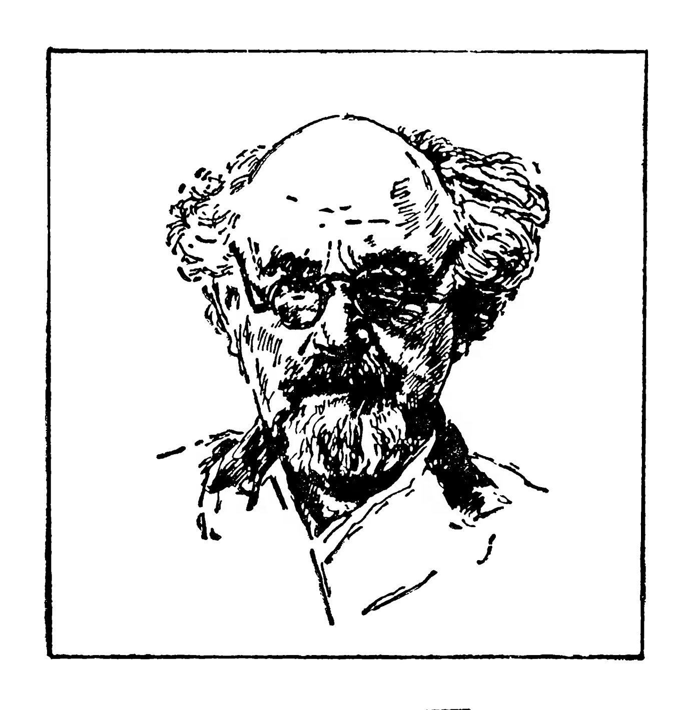


М. ПРИШВИН

В КРАЮ ДЕДУШКИ МАЗАЯ

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Михаил Пришвин

1873–1954

М. ПРИШВИН

В КРАЮ ДЕДУШКИ МАЗАЯ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
АРХАНГЕЛЬСК
1981

Р2
П77

Пришвин М. М.

П77 В краю дедушки Мазая: [Рассказы]. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1981. — 159 с., ил.

Печатается по изданиям:

М. Пришвин. В краю дедушки Мазая. Нижне-Волжское книжное издательство, Волгоград, 1979.

М. М. Пришвин. Повести. Поэмы. Охотничьи рассказы. Южно-Уральское книжное издательство, Челябинск, 1980.

М. Пришвин. В краю дедушки Мазая. «Детская литература», Москва, 1969.

Без объявления

Р2
ББК 84 Р7



ДОМ НА КОЛЕСАХ

Устроить себе дом на колесах мне помог один журнал, с которым мы заключили такой договор: я буду писать о своем путешествии, а журнал мне за это поможет устроить дом на колесах. Вскоре после заключения договора мне прислали грузовик ГАЗ, полуторатонку, и я стал обдумывать, как бы на этом грузовике устроить себе охотничий домик и уехать на нем в путешествие ранней весной и до глубокой осени.

После нескольких совещаний со столярами и плотниками я решил себе устроить нехитрый кузов из двойной фанеры.

Мастера мне скоро сделали такой домик с выдвижными щитами для окон: задвинешь щитки — и в домике делается полная тьма, необходимая мне для фотографических работ.

Округлый верх домика мы покрыли еще хорошей клеенкой и весь домик окрасили в защитный зеленый цвет, чтобы можно было в лесах затаиваться и не пугать птиц и зверей.

Когда зеленый домик был готов и краска совершенно просохла, мы установили его на машину, боковинки ящика грузовика плотно прикрепили железными скоба-

ми к стенкам домика и дом на колесах был готов... Но только окнами да крышей это было похоже на дом, остальное — машина, состоящая из двух частей: передней, моторной, и соединенной с ней тонкой переслежинкой огромной грузовой части.

А еще больше, чем на машину, мой домик на колесах был похож на какое-то длинное, расчлененное зеленое насекомое.

Управление машиной мне было хорошо известно самому, и брать шофера было незачем. Мы уложили ружья, резиновые лодки, припасы, усадили собак и уехали в край дедушки Мазая.

Этот край, описанный поэтом Некрасовым в поэме «Дедушка Мазай и зайцы», находится недалеко от города Костромы, и река там течет наша Волга.

Ранней весной, в половодье, Волга до того переполняется водой, что ей уже некуда принимать в себя воду притоков. Напротив, лишняя вода из Волги выливается.

Вот тогда все реки, текущие в Волгу, повертывают свою воду назад и текут обратно, и весь низменный край покрывается водой и становится похожим на море.

Когда прибывает вода, то, конечно, она сначала заливает места более низкие, и земля становится похожа на тело, покрытое бесчисленными глазками и жилками. А после, когда много прибудет воды, все превращается в море с бесчисленными островами.

Мало-помалу и острова исчезают, и только самые высокие места не заливаются и остаются островами на все время разлива Волги.

Вот на эти-то острова, покрытые лесом, со всех сторон сплываются звери: лоси, медведи, волки, лисицы, разные мышки, букашки, всякие зайчики, горностайчики...

Тут есть на что посмотреть.

Мы приехали сюда еще по морозу и в ожидании весны поставили свой дом на колесах на самое возвышенное место.

Тут мы устроились лагерем.

Когда было холодно, мы согревали изнутри свой домик двумя керосинками, и спать было очень тепло.

Когда же кончились морозы и разлилась вода, в небольшом домике спать можно было и без керосинки. А когда стали одеваться деревья, мы надули две наши

резиновые лодки, над ними раскинули палатку и спали в этих лодках, как на самых мягких и удобных кроватях.

Когда же стало совсем тепло, всей гнусной силой своей напали на нас комары. Тогда мы опять забрались в наш дом на колесах. Осенью, когда комары стали пропадать, мы опять выбрались в палатку и жили в ней до зимы.

Каждый день я записывал свои наблюдения в природе.

Некоторые страницы моего дневника, может, будут вам интересны.

ДЕРЕВЬЯ В ПЛЕНУ

Весна сияла на небе, но лес еще по-зимнему был засыпан снегом.

Были ли вы снежной зимой в молодом лесу? Конечно, не были: туда и войти невозможно. Там, где летом вы шли по широкой дорожке, теперь через эту дорожку в ту и другую сторону лежат согнутые деревья, и так низко, что только зайцу под ними и пробежать.

Вот что случилось с деревьями: березка вершинкой своей, как ладонью, забирала падающий снег, и такой от этого вырос ком, что вершинка стала гнуться.

В оттепель падал опять снег и прилипал к тому ко́му. Вершина с тем огромным комом все гнулась и наконец погрузилась в снег и примерзла так до самой весны. Под этой аркой всю зиму проходили звери и люди изредка на лыжах.

Но я знаю одно простое волшебное средство, чтобы идти по такой дорожке, самому не сгибая спины. Я выламываю себе хорошую, увесистую палочку, и стоит мне только этой палочкой хорошенько стукнуть по склоненному дереву, как снег валится вниз, дерево прыгает вверх и уступает мне дорогу. Медленно так я иду и волшебным ударом освобождаю множество деревьев.

ЖАРКИЙ ЧАС

В полях тает, а в лесу еще снег лежит нетронутый плотными подушками на земле и на ветках деревьев, и

деревья стоят в снежном плену. Тонкие стволики пригнулись к земле, примерзли и ждут с часу на час освобождения.

Наконец приходит этот жаркий час, самый счастливый для неподвижных деревьев и страшный для зверей и птиц.

Пришел жаркий час, снег незаметно подтаивает, и вот в полной лесной тишине как будто сама собой шевельнется еловая веточка и закачается. А как раз под этой елкой, прикрытый ее широкими ветками, спит заяц. В страхе он встает и прислушивается: веточка не может же сама собой шевельнуться...

Зайцу страшно, а тут на глазах его другая, третья ветка шевельнулась и, освобожденная от снега, подпрыгнула.

Заяц метнулся, побежал, опять сел столбиком и слушает: откуда беда, куда ему бежать?

И только стал на задние лапки, только оглянулся, как прыгнет вверх перед самым его носом, как выпрямится, как закачается целая береза, как махнет рядом ветка елки!

И пошло, и пошло: везде прыгают ветки, вырываясь из снежного плена, весь лес кругом шевелится, весь лес пошел.

И мечется обезумевший заяц, и встает всякий зверь, и птица улетает из леса.

СОСУЛЬКА

Наш домик на колесах завалило снегом. Весенний солнечный луч на крыше создал нечто вроде горного ледника, из-под которого, как в настоящем леднике, струилась вода рекой, и от этого ледник отступал. Тоненькая струйка с теплой крыши падает на холодную сосульку, висящую в тени на морозе. От этого вода, коснувшись сосульки, замерзает, и так сосулька этим утром росла сверху в толщину.

Когда солнце, обогнув крышу, заглянуло на сосульку, я тоже из окошка домика на нее взглянул: мороз исчез, и поток из ледника, сбежав по сосульке, стал падать золотыми каплями вниз.

Далеко еще до вечера стало морозить в тени, и хотя

еще на крыше ледник все отступал и ручей струился по сосульке, все-таки некоторые капельки в конце сосульки стали примерзать, и чем дальше, тем больше. Сосулька к вечеру стала расти в длину. А на другой день опять солнце, и опять ледник отступает, и сосулька растет утром в толщину, а вечером в длину: каждый день все толще, все длиннее.

НАСТ

Опять ясный день с солнечным морозом, и ручьи по колеям на дороге, и жаркий час на сугробах, в лесах, заваленных снегом.

Ночью мороз был так силен, что наст не везде проваливался, зато уж как провалишься, так здорово достается. Сейчас можно поутру забраться по насту глубоко в лес, и в полдень, когда разогреет, там, в лесу, и останешься, не вылезешь и будешь ждать ночного мороза, пока он намостит.

БЕЛИЧЬЯ ПАМЯТЬ

Сегодня, разглядывая на снегу следы зверушек и птиц, вот что я по этим следам прочитал: белка пробилась сквозь снег в мох, достала там с осени спрятанные два ореха, тут же их съела — я скорлупки нашел. Потом отбежала десяток метров, опять нырнула, опять оставила на снегу скорлупу и через несколько метров сделала третью полазку.

Что за чудо? Нельзя же подумать, чтобы она чуяла запах ореха через толстый слой снега и льда. Значит, помнила с осени о своих орехах и точное расстояние между ними.

Но самое удивительное — она не могла отмеривать, как мы, сантиметры, а прямо на глаз с точностью определяла, ныряла и доставала. Ну как было не позавидовать беличьей памяти и смекалке!

НОЧЕВКИ ЗАЙЦА

Утром со мной шла Зиночка по заячьему следу. Вчера моя собака пригнала этого зайца сюда, прямо к нашей стоянке, из далекого леса.

Вернулся ли заяц в лес или остался пожить около людей где-нибудь в овражке?

Обошли мы поле и нашли обратный след. Он был свеженький.

— По этому следу он возвратился к себе в свой старый лес, — сказал я.

— Где же он ночевал, заяц? — спросила Зиночка.

На мгновение вопрос ее сбил меня с толку, но я опомнился и ответил:

— Это мы ночуем, а зайцы ночью живут: ночью он прошел здесь и дневать ушел в лес; там теперь лежит, отдыхает. Это мы ночуем, а зайцы днюют, и им днем куда страшнее, чем нам ночью. Днем их всякий сильный зверь может обидеть.

ЛЯГУШОНОК

В полднях от горячих лучей солнца стал плавиться снег. Пройдет два дня, много три, и весна загудит. В полднях солнце так распаривает, что весь снег вокруг нашего домика на колесах покрывается какой-то черной пылью. Мы думали, где-то угли жгут. Приблизил я ладонь к этому грязному снегу, и вдруг — вот те угли! — на сером снегу стало белое пятно: это мельчайшие жучки прыгунки разлетелись в разные стороны.

В полдневных лучах на какой-нибудь час или два оживают на снегу разные жучки, паучки, блошки, даже комарики перелетают.

Случилось, талая вода проникла в глубь снега и разбудила спящего на земле под снежным одеялом маленького розового лягушонка. Он выполз из-под снега наверх, решил по глупости, что началась настоящая весна, и отправился путешествовать. Известно, куда путешествуют лягушки: к ручейку, к болотцу.

Случилось, в эту ночь как раз хорошо припорошило, и след путешественника легко можно было разобрать. След вначале был прямой, лапка за лапкой, к ближайшему болотцу. Вдруг почему-то след сбивается, дальше больше и больше. Потом лягушонок мечется туда и сюда, вперед и назад, след становится похожим на запутанный клубок ниток.

Что случилось, почему лягушонок вдруг бросил свой прямой путь к болоту и пытался вернуться назад?

Чтобы разгадать, распутать этот клубок, мы идем дальше и вот видим — сам лягушонок, маленький, розовый, лежит, растопырив безжизненные лапки.

Теперь все понятно. Ночью мороз взялся за вожжи и так стал подхлестывать, что лягушонок остановился, сунулся туда, сюда и круто повернул к теплой дырочке, из которой почуял весну.

В этот день мороз еще крепче натянул свои вожжи, но ведь в нас самих было тепло, и мы стали помогать весне. Мы долго грели лягушонка своим горячим дыханием — он все не оживал. Но мы догадались: налили теплой воды в кастрюльку и опустили туда розовое тельце с растопыренными лапками.

Крепче, крепче натягивай, мороз, свои вожжи — с нашей весной ты теперь больше не справишься. Не больше часа прошло, как наш лягушонок снова почуял своим тельцем весну и шевельнул лапками. Вскоре и весь он ожил.

Когда грянул гром и всюду зашевелились лягушки, мы выпустили нашего путешественника в то самое болотце, куда он хотел попасть раньше времени, и сказали ему в напутствие:

— Живи, лягушонок, только, не зная броду, не суйся в воду.

МУРАВЬИ

Я устал на охоте за лисицами, и мне захотелось где-нибудь отдохнуть. Но лес был завален глубоким снегом, и сесть было некуда. Случайно взгляд мой упал на дерево, вокруг которого расположился гигантский, засыпанный снегом муравейник.

Я взбираюсь вверх, сбрасываю снег, разгребаю сверху этот удивительный муравьиный сбор из хвоинок, сучков, лесных соринок и сажусь в теплую ямку в муравейнике. Муравьи, конечно, об этом ничего не знают: они спят глубоко внизу.

Несколько повыше муравейника, где в этот раз я отдыхал, кто-то содрал с дерева кору, и белая древесина, довольно широкое кольцо, была покрыта густым слоем смолы. Колечко прекращало движение соков, и дерево неминуемо должно было погибнуть. Бывает, такие коль-

ца на деревьях делает дятел, но он не может сделать так чисто.

Скорее всего, подумал я, кому-нибудь нужна была кора, чтобы сделать коробочку для сбора лесных ягод.

Отдохнув хорошо на муравейнике, я ушел и вернулся случайно к нему, когда стало совсем тепло и муравьи проснулись и поднялись наверх.

Я увидел на светлом пораненном смолистом кольце дерева какое-то темное пятно и вынул бинокль, чтобы рассмотреть подробней. Оказалось — это были муравьи: им зачем-то понадобилось пробиться через покрытую смолой древесину вверх.

Нужно долго наблюдать, чтобы понять муравьиное дело; много раз я наблюдал в лесах, что муравьи постоянно бегают по дереву, к которому прислонен муравейник, только я не обращал на это внимания: велика ли штука муравей, чтобы разбираться настойчиво, куда и зачем он бежит или лезет по дереву! Но теперь оказалось, что не отдельным муравьям зачем-то, а всем муравьям необходима была эта свободная дорога вверх по стволу из нижнего этажа дерева, быть может, в самые высокие. Смолистое кольцо было препятствием, и это поставило на ноги весь муравейник.

В сегодняшний день в муравейнике была объявлена всеобщая мобилизация. Весь муравейник вылез вверх, и все государство, в полном составе, тяжелым шевелящимся пластом собралось вокруг осмоленного кольца.

Впереди шли муравьи-разведчики. Они пытались пробиться наверх и по одному застревали и погибали в смоле.

Следующий разведчик пользовался трупом своего товарища, чтобы подвинуться вперед. В свою очередь, он делался мостом для следующего разведчика.

Наступление шло широким, развернутым строем, и на наших глазах белое кольцо темнело и покрывалось черным: это передние муравьи самоотверженно бросались в смолу и своими телами устилали путь для других.

Так в какие-нибудь полчаса муравьи зачернили смолистое кольцо и по этому бетону побежали свободно наверх по своим делам. Одна полоса муравьев бежала вверх, другая вниз, туда и сюда. И закипела работа по этому живому мосту, как по коре.

ОСТРОВ СПАСЕНИЯ

Недолго пришлось нам дожидаться разлива. В одну ночь после сильного, очень теплого дождя воды прибавилось сразу на метр, и отчего-то невидимый ранее город Кострома с белыми зданиями показался так отчетливо, будто раньше он был под водой и только теперь из-под нее вышел на свет. Тоже и горный берег Волги, раньше терявшийся в снежной белизне, теперь возвышался над водой, желтый от глины и песка. Несколько деревень на холмиках были кругом обойдены водой и торчали, как муравейники.

На великом разливе Волги там и тут виднелись копеечки незалитой земли, иногда голые, иногда с кустарником, иногда с высокими деревьями. Почти ко всем этим копеечкам жались утки разных пород, и на одной косе длинным рядом, один к одному, гляделись в воду гуси-гуменники.

Там, где земля была совсем затоплена и от бывшего леса торчали только вершинки, как частая шерсть, всюду эти шерстинки покрывались разными зверьками.

Зверьки иногда сидели на ветках так густо, что обыкновенная какая-нибудь веточка ивы становилась похожа на гроздь черного крупного винограда.

Водяная крыса плыла к нам, наверно, очень издалека и, усталая, прислонилась к ольховой веточке.

Легкое волнение воды пыталось оторвать крысу от ее пристани. Тогда она поднялась немного по стволу, села на развилочку.

Тут она прочно устроилась: вода не доставала ее. Только изредка большая волна, «девятый вал», касалась ее хвоста, и от этих прикосновений в воде рождались и уплывали кружочки.

А на довольно-таки большом дереве, стоящем, наверно, под водой на высоком пригорке, сидела жадная, голодная ворона и выискивала себе добычу. Невозможно бы ей было углядеть в развилочке водяную крысу, но на волне от соприкосновения с хвостом плыли кружочки, и вот эти-то кружочки и выдали вороне местопребывание крысы. Тут началась война не на живот, а на смерть.

Несколько раз от ударов клюва вороны крыса падала в воду, и опять взбиралась на свою развилочку, и опять падала.

И вот совсем было уже удалось вороне схватить свою жертву, но крыса не желала стать жертвой вороны.

Собрав последние силы, так ущипнула ворону, что из нее пух полетел, и так сильно, будто ее дробью хватили. Ворона даже чуть не упала в воду и только с трудом справилась, ошалелая села на свое дерево и стала усердно оправлять свои перья, по-своему залечивать раны. Время от времени от боли своей, вспоминая о крысе, она оглядывалась на нее с таким видом, словно сама себя спрашивала: «Что это за крыса такая? Будто так никогда со мной не бывало!»

Между тем водяная крыса после счастливого своего удара вовсе даже и забыла думать о вороне. Она стала навастривать бисерок своих глазок на желанный берег.

Срезав себе веточку, она взяла ее передними лапками, как руками, и зубами стала грызть, а руками повертывать.

Так она обглодала дочиста всю веточку и бросила ее в воду. Новую же срезанную веточку она не стала глодать, а прямо с ней спустилась вниз и поплыла и потащила веточку на буксире. Все это видела, конечно, хищная ворона и провожала храбрую крысу до самого нашего берега.

Однажды мы сидели у берега и наблюдали, как из воды выходили землеройки, полёвки, водяные крысы, и норки, и заюшки, и горностаюшки, и белки тоже сразу большой массой приплыли и все до одной держали хвостики вверх.

Каждую зверушку мы, хозяева острова, встречали, принимали с родственным вниманием и, поглядев, пропускали бежать в то место, где полагается жить ее породе. Но напрасно мы думали, что знаем всех наших гостей.

Новое знакомство началось словами Зиночки.

— Поглядите, — сказала она, — что же это делается с нашими утками!

Эти наши утки выведены от диких, и мы возили их для охоты: утки кричат и подманивают диких селезней на выстрел.

Глянули на этих уток и видим, что они отчего-то стали много темнее и, главное, много толще.

— Отчего это? — стали мы гадать, додумываться.

И пошли за ответом на загадку к самим уткам. Тог-

да оказалось, что для бесчисленного множества плывущих по воде в поисках спасения паучков, букашек и всяких насекомых наши утки были двумя островами, желанной сушей.

Они взбирались на плавающих уток в полной уверенности, что наконец-то достигли надежного пристанища и опасное странствование их по водам кончено.

И так их было много, что утки наши толстели и толстели заметно у нас на глазах.

Так наш берег стал островом спасения для всех зверей — больших и маленьких.

ЕЖ ПРОСНУЛСЯ

Этот теплый дождь с грозой расшевелил и ёжика, спавшего всю зиму в кусту, под толстым слоем листвы. Ёж стал развертываться, а листва над ним — подниматься. Я раз это видел своими глазами, и мне даже немножко страшно стало: сама ведь поднимается листва.

Вот он развернулся и мохнатенькую мордочку с черным собачьим носиком высунул. Только высунул, вдруг ветèр шевельнул старыми дубовыми листьями, и вышло из этого шума явственно: «Ё-ш-ш-ш». (Ёж.).

Как тут не испугаться! В одно мгновение ёж свернулся клубочком и сколько-то времени пролежал так, будто нет его, серого, в серой листве. Когда же времени прошло довольно, ёж опять стал развертываться, но опять только поднялся на ноги и маленькой спинкой, густо уснащенной колючками, тронулся, вдруг из тех же дубовых сухих листьев шепнуло: «Ёж! Куда ты идешь?»

И так было несколько раз, пока ёж привык и пошел. Все происходило в большой близости от нашего домика на колесах, и не мудрено, что ёж попал под машину, где на старой ватной кофте крепко спал наш Сват. Ёжику эта кофта понравилась: совсем сухо, тепло, и вот тут даже есть дырочка, куда можно залезть. Но только он стал туда залезать, вдруг Сват почуял ежа:

— Ёж, куда ты идешь?

И началось, и началось! А ёж, поддав колючками в нос Свату, залез в дырочку и скоро так глубоко продвинулся в рукаве, что дальше идти было некуда: рукав в конце был очень узок.

— Ёж! Куда ты идешь? — ревел Сват.

А ежу — ни вперед, ни назад: впереди узко, назади Сват.

Разобрав в чем дело, мы ватную кофту перенесли в наш дом, рассчитывая, что следующей ночью ёж уложит гладко свои колючки и как-нибудь выпятится. Может быть, кофта ему понравится и станет ежовым гнездом.

ЗАРАБОТАЛ ТРАКТОР

На том, южном, берегу реки чуть-чуть заметно позеленело, и эта зелень даже отразилась немного у края голубой реки.

Пар от земли наполняет воздух здоровым туманцем, и оттого хвойный зеленый лес за рекой стал голубым...

Заработал трактор, и я легко нашел его в тускложелтых полосках за рекой. Грачи слетелись к трактору совершенно так же, как в былые времена слетались к сохе. Только прежде они не торопились и шли, важно переваливаясь, вслед за сохой. Мне кажется даже, что в прежнее время к пахарю они были даже чуть-чуть снисходительны. Теперь трактор скоро идет, и червей из-под него много больше, чем было из-под сохи. Надо грачам очень, очень спешить, чтобы черви не спрятались: грачи за трактором не идут, а подлетывают.

Важность свою грачи потеряли, зато пахарь теперь не плетется в борозде, не ругается поминутно на лошадь, а сидит и, может быть, даже поет.

ОРЕХОВЫЕ ДЫМКИ

Барометр падает, но вместо благодетельного теплого дождя приходит холодный ветер. И все-таки весна продолжает продвигаться. За сегодняшний день позеленели лужайки сначала по краям ручьев, потом по южным склонам берегов, возле дороги, и к вечеру зазеленело везде на земле. Красивы были волнистые линии пахоты на полях — нарастающее черное с поглощаемой зеленью. Почки на черемухе сегодня превратились в зеленые копья. Ореховые сережки начали пылить, и под каждой порхающей в орешнике птичкой взлетал дымок.

ТРЯСОГУЗКА

Каждый день мы ждали любимую нашу вестницу весны — трясогузку, и вот наконец и она прилетела и села на дуб и долго сидела, и я понял, что это наша трясогузка, что тут она где-нибудь и жить будет. Я теперь легко узнаю, наша это птичка, будет ли она тут с нами вблизи где-нибудь жить все лето или полетит дальше, а тут села она лишь отдохнуть. Вот скворец наш, когда прилетел, то нырнул прямо в свое дупло и запел; трясогузка же наша с прилету прибежала к нам под машину.

Молодая наша собачка Сват стала прилаживаться, как бы ее обмануть и схватить.

С передним черным галстучком, в светло-сером, отлично натянутом платьице, живая, насмешливая, она проходила под самым носом Свата, делая вид, будто вовсе не замечает его. Вот он бросается на изящную птичку со всей своей собачьей страстью, но она отлично знает собачью природу и приготовлена к нападению. Она отлетает всего на несколько шагов.

Тогда он, вцеливаясь в нее, опять замирает. А трясогузка глядит прямо на него, раскачивается на своих тоненьких пружинистых ножках и только что не смеется вслух, только что не выговаривает:

«Да ты мне, милый, не сват, не брат».

И наступает иногда на Свата прямо рысцой.

Спокойная пожилая Лада, неподвижная, замирала, как на стойке, и наблюдала игру; она не делала ни малейшей попытки вмешиваться. Игра продолжалась и час и больше. Лада следила спокойно, как и мы, за противниками. Когда птичка начинала наступать, Лада переводила свой зоркий глаз на Свата, стараясь понять, поймает он или же птичка опять покажет ему свой длинный хвост.

Еще забавнее было глядеть на птичку эту, всегда веселую, всегда дельную, когда снег с песчаного яра над рекой стал сползать. Трясогузка зачем-то бегала по песку возле самой воды. Пробежит и напишет на песке строчку своими тонкими лапками. Бежит назад, а строчка, глядишь, уже под водой. Тогда пишется новая строчка, и так почти непрерывно весь день: вода при-

бывает и хоронит написанное. Трудно узнать, каких жучков-паучков вылавливала наша трясогузка.

Когда вода стала убывать, песчаный берег снова открылся, на нем была целая рукопись, написанная лапкой трясогузки, но строчки были разной ширины, и вот почему: вода прибывала медленно — и строчки были чаще; вода быстрей — и строчки шире.

Так по этой записи трясогузкиной лапки на мокром песке крутого берега можно было понять, была ли это весна дружная или движение воды ослаблялось морозами.

Очень мне хотелось снять аппаратом птичку-писателя за ее работой, но не удалось. Неустанно она работает и в то же время наблюдает меня скрытым глазом. Увидит — и пересаживается подальше без всякого перерыва в работе. Не удавалось мне снять ее и в сухих дровах, сложенных на берегу, где она хотела устроить себе гнездышко. Вот однажды, когда мы за ней охотились безуспешно с фотоаппаратом, пришел один старичок, засмеялся, глядя на нас, и говорит:

— Эх вы, мальчики, птичку не понимаете!

И велел нам скрыться, присесть за нашим штабелем дров. Не прошло десяти секунд, как любопытная трясогузка прибежала узнать, куда мы делись. Она сидела сверху над нами в двух шагах и трясла своим хвостиком в величайшем изумлении.

— Любопытная она, — сказал старичок, и в этом была вся разгадка.

Мы проделали то же самое несколько раз, приладились, спугнули, присели, навели аппарат на одну веточку, выступающую из поленницы, и не ошиблись: птичка проскакала вдоль всей поленницы и села как раз на эту веточку, а мы ее сняли.

ГОСТИ

Сегодня с утра стали собираться к нам гости. Первая прибежала трясогузка, просто так, чтобы только на нас посмотреть. Прилетел к нам в гости журавль и сел на той стороне речки, в желтом болоте, среди кочек, и стал там разгуливать.

Еще скопа прилетела, рыбный хищник, нос крючком,

глаза зоркие, светло-желтые, высматривала себе добычу сверху, останавливалась в воздухе для этого и пряла крыльями.

Коршун с круглой выемкой на хвосте прилетел и парил высоко.

Прилетел болотный лунь, большой любитель птичьих яиц. Тогда все трясогузки помчались за ним, как комары. К трясогузкам вскоре присоединились вороны и множество птиц, стерегущих свои гнезда, где выводились птенцы. У громадного хищника был жалкий вид: этакая махина — и улепетывает от птичек во все лопатки.

Неустанно куковала в бору кукушка.

Цапля вымахнула из сухих, старых тростников.

Болотная овсянка пикала и раскачивалась на одной тоненькой тростинке.

Землеройка пискнула в старой листве.

И когда стало еще теплее, то листья черемухи, как птички с зелеными крылышками, тоже, как гости, прилетели и сели на голые веточки.

Ранняя ива распушилась, и к ней прилетела пчела, и шмель загудел, и первая бабочка сложила крылышки.

Гусь запускал свою длинную шею в заводь, доставал себе воду клювом, поплескивал водой на себя, почесывал что-то под каждым пером, шевелил подвижным, как на пружине, хвостом. А когда все вымыл, все вычистил, то поднял вверх к солнцу высоко свой серебряный, мокро сверкающий клюв и загоготал.

Гадюка просыхала на камне, свернувшись в колечко.

Лисица лохматая озабоченно мелькнула в тростниках.

И когда мы сняли палатку, в которой у нас была кухня, то на место палатки прилетели овсянки и стали что-то клевать. И это были сегодня наши последние гости.

ЛОСИ

Как-то вечером к нашему костру пришел дед из ближайшей деревни и стал нам рассказывать о лосях разные охотничьи истории.

— Да какие они, лоси-то? — спросил кто-то из нас.

— Хорошенькие, — ответил дед.

— Ну, какие же они хорошенькие! — сказал я. — Огромные, а ножки тонкие, голова носатая, рога — как лопаты. Скорее — безобразные.

— Очень хорошенькие, — настаивает дед. — Раз было, по убылой воде, вижу, лосиха плывет с двумя лосятками. А я за кустом. Хотел было бить в нее из ружья, да подумал: деться ей некуда, пусть выходит на берег. Ну вот, она плывет, а дети за ней не поспевают, а возле берега мелко: она идет по грязи, а они тонут, отстали. Мне стало забавно. Возьму-ка, думаю, покажусь ей: что, убежит она или не кинет детей?

— Да ведь ты же убить ее хотел?

— Вот вспомнил! — удивился дед. — Я в то время забыл, все забыл, только одно помню: убежит она от детей, или то же и у них, как у нас. Ну, как вы думаете?

— Думаю, — сказал я, вспоминая разные случаи, — она отбежит к лесу и оттуда, из-за деревьев или с холма, будет наблюдать или дожидаться...

— Нет, — перебил меня дед. — Оказалось, у них, как и у нас. Мать так яро на меня поглядела, а я на нее острогой махнул. Думал — убежит, а лосенков я себе захвачу. А ей хоть бы что — и прямо на меня идет и яро глядит. Лосята еще вытаскивают ножонки из грязи. И что же вы думаете? Что они делать стали, когда вышли на берег?

— Мать сосать?

— Нет, как вышли на берег — прямо играть. Шагов я на пять подъехал к ним на ботничке, и гляжу, и гляжу — чисто дети. Один был особенно хорош. Долго играли, а когда наигрались, то к матке, и она их повела, и пошли они покойно, пошли и пошли...

— И ты их не тронул?

— Так вот и забыл, как все равно мне руки связали. А в руке острога. Стоило бы только двинуть рукой...

— Студень-то какой! — сказал я.

Дед с уважением поглядел на меня и ответил:

— Студень из лосенков правда хорош. Только уж такие они хорошенькие... Забыл и про студень!

РАЗГОВОР ДЕРЕВЬЕВ

Почки раскрываются, шоколадные, с зелеными хвостиками, и на каждом зеленом клювике висит большая прозрачная капля.

Возьмешь одну почку, разотрешь между пальцами, и потом долго все пахнет тебе ароматной смолой березы, тополя или черемухи.

Понюхаешь черемуховую почку и сразу вспомнишь, как бывало забирался наверх по дереву за ягодками, блестящими, чернолаковыми. Ел их горстями прямо с косточками, но ничего от этого, кроме хорошего, не бывало.

Вечер теплый, и такая тишина, словно должно что-то в такой тишине случиться. И вот начинают шептаться между собой деревья: береза белая с другой березой белой издали перекликаются; осинка молодая вышла на поляну, как зеленая свечка, и зовет к себе такую же зеленую свечку-осинку, помахивая веточкой; черемуха черемухе подает ветку с раскрытыми почками.

Если с нами сравнить — мы звуками перекликаемся, а у них — аромат.

МОЛОДЫЕ ЛИСТИКИ

Ели цветут красными свечами и пылят желтой мучицей.

У старого, огромного пня я сел прямо на землю; пень этот внутри — совершенно труха и, наверно, рассыпался бы вовсе, если бы твердая крайняя древесина не растрескалась дощечками, как в бочках, и каждая дощечка не прислонилась бы к трухе и не держала бы ее. А из трухи выросла березка и теперь распустилась. И множество разных трав ягодных, цветущих снизу, поднималось к этому старому, огромному пню.

Пень удержал меня, я сидел рядом с березкой, старался услышать шелест трепещущих листиков и не мог ничего услыхать. Но ветер был довольно сильный, и по елям приходила сюда лесная музыка волнами, редкими и могучими.

Вот убежит волна далеко и не придет, а шумовая завеса упадет, откроется на короткую минуту полная

тишина, и зяблик этим воспользуется; раскатится бойко, настойчиво. Радостно слушать его — подумаешь, как жить хорошо на земле! Но мне хочется услышать, как шепчутся бледно-желтые ароматно-блестящие и еще маленькие листья моей березы. Нет! Они такие нежные, что только трепещутся, блестят, пахнут, но не шумят.

ЧЕРЕМУХА

Сочувствуя поваленной березе, я отдыхал на ней и смотрел на большую черемуху, то забывая ее, то опять с изумлением к ней возвращаясь; мне казалось, будто черемуха тут же на глазах одевалась в свои прозрачные, сделанные как будто из зеленого шума, одежды: да, среди серых, еще не одетых деревьев и частых кустов она была зеленая, и в то же время через эту зелень я видел сзади нее частые белые березки. Но когда я поднялся и захотел проститься с зеленой черемухой, мне показалось, будто сзади нее и не было видно березок.

Что же это такое? Или это я сам выдумал, будто были березки, или... или черемуха оделась в то время, как я отдыхал...

ПЕРВЫЙ РАК

Гремел гром, и шел дождь, и сквозь дождь лучило солнце и раскидывалась широкая радуга от края до края. В это время распускалась черемуха, и кусты дикой смородины над самой водой позеленели. Тогда из какой-то рачьей печуры высунул голову и шевельнул усом своим первый рак.

ЭТАЖИ ЛЕСА

У птиц и зверьков в лесу есть свои этажи: мышки живут в корнях — в самом низу; разные птички вроде соловья, вьют свои гнездышки прямо на земле; дрозды еще повыше, на кустарниках; дупляные птицы — дятел, синички, совы — еще повыше; на разной высоте по ство-

лу дерева и на самом верху селятся хищники: ястреба и орлы.

Мне пришлось однажды наблюдать в лесу, что у них, зверушек и птиц, с этажами не как у нас в небоскребах: у нас всегда можно с кем-нибудь перемениться, у них каждая порода живет непременно в своем этаже.

Однажды на охоте мы пришли к полянке с погибшими березами.

Это часто бывает, что березы дорастут до какого-нибудь возраста и засохнут. Другое дерево, засохнув, роняет на землю кору, и оттого непокрытая древесина скоро гниет и все дерево падает; у березы же кора не падает; эта смолистая, белая снаружи кора — береста — бывает непроницаемым футляром для дерева, и умершее дерево долго стоит, как живое.

Даже когда и сгниет дерево и древесина превратится в труху, отяжеленную влагой, с виду белая береза стоит, как живая.

Но стóит, однако, хорошенько толкнуть такое дерево, как вдруг оно разломится все на тяжелые куски и падает.

Валить такие деревья — занятие очень веселое, но и опасное: куском дерева, если не увернешься, может здорово хватить тебя по голове. Но все-таки мы, охотники, не очень боимся и когда попадаем к таким березам, то друг перед другом начинаем их рушить.

Так пришли мы к полянке с такими березами и обрушили довольно высокую березу. Падая, в воздухе она разломилась на несколько кусков, и в одном из них было дупло с гнездом гаечки. Маленькие птенчики при падении дерева не пострадали, только вместе со своим гнездышком вывалились из дупла. Голые птенцы, покрытые пенышками, раскрывали широкие красные рты и, принимая нас за родителей, пищали и просили у нас червячка. Мы раскопали землю, нашли червячков, дали им перекусить; они ели, глотали и опять пищали. Очень скоро прилетели родители, гаечки-синички, с белыми пухлыми щечками и червячками во ртах, сели на рядом стоящих деревьях.

— Здравствуйте, дорогие, — сказали мы им. — Вышло несчастье: мы этого не хотели.

Гаечки ничего не могли нам ответить, но, самое глав-

ное, не могли понять, что такое случилось, куда делось дерево, куда исчезли их дети.

Нас они нисколько не боялись, порхали с ветки на ветку в большой тревоге.

— Да вот же они! — показывали мы им гнездо на земле. — Вот они, прислушайтесь, как они пищат, как зовут вас!

Гаечки ничего не слушали, суетились, беспокоились и не хотели спуститься вниз и выйти за пределы своего этажа.

— А может быть, — сказали мы друг другу, — они нас боятся. Давай спрячемся!

И спрятались.

Нет! Птенцы пищали, родители пищали, порхали, но вниз не спускались.

Мы догадались тогда, что у птичек не как у нас в небоскребах, они не могут перемениться этажами: им теперь просто кажется, что весь этаж с их птенцами исчез.

— Ой-ой-ой, — сказал мой спутник, — ну какие же вы дурачки!..

Жалко стало и смешно: такие славные и с крылышками, а понять ничего не хотят.

Тогда мы взяли тот большой кусок, в котором находилось гнездо, сломили верх соседней березы и поставили на него наш кусок с гнездом как раз на такую высоту, на какой находился разрушенный этаж. Нам недолго пришлось ждать в засаде: через несколько минут счастливые родители встретили своих птенчиков.

ВЕРХОПЛАВКИ

На воде дрожит золотая сеть солнечных зайчиков. Темно-синие стрекозы в тростниках и елочках хвоща. И у каждой стрекозы есть своя хвощевая елочка или тростинка: слетит и на нее непременно возвращается.

Очумелые вороны вывели птенцов и теперь сидят, отдыхают.

Листик, самый маленький, на паутинке спустился к реке и вот крутится, вот-то крутится...

Так я еду тихо вниз по реке на своей лодочке, а лодочка у меня чуть потяжелее этого листика, сложена из

пятидесяти двух палочек и обтянута парусиной. Весло к ней одно: длинная палка и на концах по лопаточке. Каждую лопаточку окунаешь попеременно с той и другой стороны. Такая легкая лодочка, что не нужно никакого усилия: тронул воду лопаточкой — и она плывет, и до того неслышно плывешь, что рыбки ничуть не боятся.

Чего-чего только не увидишь, когда тихо едешь на такой лодочке по реке!

Вот грач, перелетая над рекой, капнул в воду, и эта известково-белая капля, тукнув по воде, сразу же привлекла внимание мелких рыбок — верхоплавок. В один миг вокруг грачиной капли собрался из верхоплавок настоящий базар.

Заметив это сборище, крупный хищник — рыба шелеспер — подплыл и хвать своим хвостом по воде с такой силой, что оглушенные верхоплавки перевернулись вверх животами. Они бы через минуту ожили, но шелеспер не дурак какой-нибудь: он знает, что не так-то часто случается, что грач капнул и столько дурочек собралось вокруг одной капли; хвать одну, хвать другую — много поел.

А какие успели убраться, впредь будут жить, как ученые, и если сверху им капнет что-нибудь хорошее, будут в оба глядеть, не пришло бы им снизу чего-нибудь скверного.

ЩУКА

Мы поставили на ночь в реке ставные сети и вытащили наутро щуку. Она так запуталась в сетях, что стояла в воде неподвижная, как сук. И вот мы видим — лягушка села на нее и так присосалась, что мы долго не могли ее оторвать от щуки даже палкой. Щука была живая.

Это сильный, страшный хищник, но достаточно было ей остановиться в своем движении, и самая маленькая лягушка не боялась ей на спину сесть.

ОКОЛО ГНЕЗДА

Сарыч, когда низко летит над лесом, никогда в это время почему-то не свистит, как обыкновенно, а крях-

тит. Этот звук у него, наверно, связан с кормлением детей, это он приближается к своему гнезду.

Почти каждая птица, появляясь с червем в носу, несмотря на это, пищит. Сегодня я наблюдал, как гаечка, не выпуская червяка, присела на сучок отдохнуть и почесала в одно мгновение о сучок попеременно обе щеки.

Рябчики выпорхнули и расселись по елкам и березкам, маленькие, с воробья, а уже отлично лётные и сторожкие, совсем как большие. Мать близко сидит на березе, очень сдержанно и глухо дает им знать о себе, и когда издает звук, хвостик у нее покачивается.

БЕРЕСТЯНАЯ ТРУБОЧКА

Я нашел удивительную берестяную трубочку. Когда человек вырежет себе кусок бересты на березе, остальная береста около пореза начинает свертываться в трубочку. Трубочка высохнет, туго свернется. Их бывает на березах так много, что и внимания не обращаешь.

Но сегодня мне захотелось посмотреть, нет ли чего в такой трубочке.

И вот в первой же трубочке я нашел хороший орех, так плотно прихваченный, что с трудом удалось палочкой его вытолкнуть. Вокруг березы не было орешника. Как же он туда попал?

«Наверно, белка его туда спрятала, делая зимние свои запасы, — подумал я. — Она знала, что трубка будет все плотнее и плотнее свертываться и все крепче прихватывать орех, чтоб не выпал».

Но после я догадался, что это не белка, а птица ореховка воткнула орех, может быть украв из гнезда белки.

Разглядывая свою берестяную трубочку, я сделал еще одно открытие: под прикрытием ореха поселился — кто бы мог подумать! — паучишко и всю внутренность трубочки затянул своей паутинкой.

ДЯТЕЛ

Видел дятла: короткий — хвостик ведь у него маленький, летел, насадив себе на клюв большую еловую шишку. Он сел на березу, где у него была мастерская

для шелушения шишек. Пробежал вверх по стволу с шишкой на клюве до знакомого места. Вдруг видит, что в развилине, где у него защемляются шишки, торчит отработанная и несброшенная шишка и новую шишку некуда девать. И — горе какое! — нечем сбросить старую: клюв-то занят.

Тогда дятел, совсем как человек бы сделал, новую шишку зажал между грудью своей и деревом, освободил клюв и клювом быстро выбросил старую шишку. Потом новую поместил в свою мастерскую и заработал.

Такой он умный, всегда бодрый, оживленный и деловой.

КРАСНЫЕ ШИШКИ

В солнечное летнее утро вхожу я в лес.

— Здравствуйте, знакомые елочки! Как поживаете, что нового?

И они отвечают по-своему, что все благополучно, что за это время молодые красные шишки дошли до половины настоящей величины.

И это правда, это можно проверить: старые, бурые, пустые, висят рядом с молодыми, красными, на деревьях; можно сосчитать, и выйдет как раз половина.

ЦВЕТУЩИЕ ТРАВЫ

Как рожь на полях, так в лугах тоже зацвели все злаки, и когда злачинку покачивало насекомое, она окутывалась пыльцой, как золотым облаком.

Все травы цветут, и даже подорожник. Какая трава подорожник, — а тоже весь в белых бусинках. Раковые шейки, медуницы, всякие колоски, пуговки, шишечки на тонких стебельках приветствуют нас.

Сколько их прошло, пока мы столько лет жили, и не узнать; кажется, все те же шейки, колоски, старые друзья.

Здравствуйте, милые, здравствуйте!

БЕРЕЗЫ

Зимой березы таятся в хвойном лесу, а весной, когда листья развертываются, кажется, будто березы из темного леса выходят на опушку.

Это бывает до тех пор, пока листва на березах не потемнеет и более или менее не сравняется с цветом хвойных деревьев.

И еще бывает осенью, когда березки, перед тем как скрыться, прощаются с нами своим золотом.

ЗАРАСТАЮЩАЯ ПОЛЯНА

Лесная поляна. Вышел я, стал под березкой... Что делается! Елки, одна к другой, так сильно густели — и вдруг останавливались все у большой поляны. Там, на другой стороне поляны, были тоже ели и тоже останавливались, не смея двинуться дальше. И так, кругом всей поляны, стояли густые высокие ели, каждая высылая впереди себя березку. Вся большая поляна была покрыта зелеными бугорками. Это было все наработано когда-то кротами и потом заросло и покрылось мохом. На эти взрытые кротами холмики падало семя и вырастали березки, а под березкой, под ее материнской защитой от мороза и солнца, вырастала тенелюбивая елочка. И так высокие ели, не смея открыто сами высылать своих малышей на полянку, высылали их под покровом березок и под их защитой переходили поляну.

Пройдет сколько-то положенных для дерева лет, и вся поляна зарастет одними елками, а березы-покровительницы зачахнут в тени.

ЛЕСНОЙ ШАТЕР

Столетние усилия дерева сделали свое: верхние ветки свои эта ель вынесла к свету, но нижние ветки-детки, сколько ни тащила их наверх матушка, остались внизу, сложились шатром, поросли зелеными бородами, и под этим непроницаемым для дождя и света шатром поселился...

Кто там поселился?

Мы возвращались с охоты мимо этой елки. Лада что-то почуяла внутри дерева и стала. Мы думали: выскочит или вылетит?

— Наверно, вылетит тетерев, — шепнул Петя.

И стал смотреть вверх.

— А я думаю, — шепнул я, — заяц выбежит.

И стал смотреть вниз.

Лада стояла.

— Вперед! — приказал я.

Но она вперед не шла. И это значило, что дальше нельзя двигаться, что зверь или птица сидит тут же, за первой еловой лапкой.

— Я ударю ногой по этой лапке, — сказал Петя, — а ты стреляй.

«Выскочит или вылетит?» — думал я.

И перекидывал глаза то вниз, то вверх.

Петя ударил по лапке ногой — ничего не выбежало и ничего не вылетело, но зашипело и затукало, как маленький мотоцикл.

Лада ткнулась и заорала: она себе наколола нос о колючки ежа.

Так ничего не выбежало и не вылетело: это был ёж.

ТЕМНЫЙ ЛЕС

Темный лес хорош в яркий солнечный день, — тут и прохлада и чудеса световые: райской птицей кажется дрозд или сойка, когда они, пролетая, пересекут солнечный луч; листья простейшей рябины в подлеске вспыхивают зеленым светом, как в сказках Шехерезады.

Чем ниже спускаешься чащей к речке, тем гуще заросли, тем больше прохлада, пока, наконец, в черноте теневой, между завитыми хмелем ольхами, не блеснет вода бочага и не покажется на берегу его влажный песок. Надо тихо идти: можно увидеть, как горлинка тут пьет воду. После на песке можно любоваться отпечатками ее лапок и рядом — всевозможных лесных жителей: вот и лисица прошла...

Оттого лес называется темным, что солнце смотрит в него, как в оконце, и не все видит. Так вот нельзя ему увидеть барсучьи норы и возле них хорошо утрамбованную песчаную площадку, где катаются молодые бар-

суки. Нор тут нарыто множество, и, по-видимому, все из-за лисы, которая поселяется в барсучьих норах и вонью своей, неопрятностью выживает барсука. Но место замечательное, переменить не хочется: песчаный холм, со всех сторон овраги, и все такой чащей заросло, что солнце смотрит и ничего видеть не может в свое небольшое окошко.

ФИЛИН

Ночью злой хищник филин охотится, днем прячется. Говорят, будто днем он плохо видит и оттого прячется. А по-моему, если бы он и хорошо видел, все равно ему бы днем нельзя было никуда показаться — до того своими ночными разбоями нажил он себе много врагов.

Однажды я шел опушкой леса. Моя небольшая охотничья собачка, породою спаниель, а по прозвищу Сват, что-то причуяла в большой куче хвороста. Долго с лаем бегал он вокруг кучи, не решаясь подлезть под нее.

— Брось! — приказал я. — Это ёж.

Так у меня собачка приучена: скажу «ёж», и Сват бросает.

Но в этот раз Сват не послушался и с ожесточением бросился на кучу и ухитрился подлезть под нее.

«Наверно, ёж», — подумал я.

И вдруг с другой стороны кучи, под которую подлез Сват, из-под нее выбегает на свет филин, ушастый и огромных размеров и с огромными кошачьими глазами.

Филин на свету — это огромное событие в птичьем мире. Бывало, в детстве приходилось попадать в темную комнату — чего-чего там не покажется в темных углах, и больше всего я боялся чёрта. Конечно, это глупости и никакого чёрта нет для человека. Но у птиц, по-моему, чёрт есть — это их ночной разбойник филин. И когда филин выскочил из-под кучи, то это было для птиц все равно, как если бы у нас на свету чёрт показался.

Единственная ворона была, пролетала, когда филин, согнувшись, в ужасе перебегал из-под кучи под ближайшую елку. Ворона увидела разбойника, села на вершину этой елки и крикнула совсем особенным голосом:

— Кра!

До чего это удивительно у ворон! Сколько слов нужно человеку, а у них одно только «кра» — на все случаи, и в каждом случае это словечко всего только в три буквы благодаря разным оттенкам звука означает разное. В этом случае воронье «кра» означало, как если бы мы в ужасе крикнули: «Чёр-р-р-р-рт!»

Страшное слово прежде всего услыхали ближайшие вороны и, услыхав, повторили, и более отдаленные, услыхав, тоже повторили, и так в один миг несметная стая, целая туча ворон с криком «Чёрт» прилетела и облепила высокую елку с верхнего сучка и до нижнего. Услыхав переполох в вороньем мире, тоже со всех сторон прилетели галки черные с белыми глазами, сойки бурые с голубыми крыльями, ярко-желтые, почти золотые иволги. Места всем не хватило на ёлке, много соседних деревьев покрылось птицами, и всё новые и новые прибывали: синички гаечки и московки, трясогузки, пеночки, зорянки и разные подкрапивнички.

В это время Сват, не понимая, что филин давно уже выскочил из-под кучи и прошмыгнул под елку, все там орал и копался под кучей. Вороны и все другие птицы глядели на кучу, все они ждали Свата, чтобы он выскочил и выгнал филина из-под елки.

Но Сват все возился, и нетерпеливые вороны кричали ему слово:

— Кра!

В этом случае это означало просто:

— Дурак!

И наконец, когда Сват причуял свежий след и вылетел из-под кучи и, быстро разобравшись в следах, направился к елке, все вороны в один общий голос опять крикнули по-нашему:

— Кра!

А по-ихнему это значило:

— Правильно!

И когда филин выбежал из-под елки и стал на крыло, опять вороны крикнули:

— Кра!

И это теперь значило:

— Брать!

Все вороны поднялись с дерева, вслед за воронами все галки, сойки, иволги, дрозды, вертишейки, трясогузки, щеглы, синички гаечки, московочки, и все эти

птицы помчались темной тучей за филином и все орали одно только:

— Брáть, брать, брать!

Я забыл сказать, что, когда филин становился на крыло, Сват успел-таки вцепиться зубами в хвост, но филин рванулся, и Сват остался с филиновыми перьями и пухом в зубах.

Озлобленный неудачей, он помчался полем за филином и первое время бежал, не отставая от птиц.

— Правильно, правильно! — кричали ему некоторые вороны.

И так вся туча птиц скоро скрылась на горизонте, и Сват тоже исчез за перелеском. Чем все кончилось, не знаю. Сват вернулся ко мне только через час с филиновым пухом во рту.

И ничего не могу сказать, тот ли это пух у него остался, который взял он, когда филин на крыло становился или же птицы доконали филина и Сват помогал им в расправе со злодеем.

Что не видал, то не видал, а врать не хочу.

ПЕНЬ-МУРАВЕЙНИК

Гуляя сегодня с Зиночкой по лесу, мы набрели на старый пень, весь покрытый, как швейцарский сыр, дырочками. Пень казался очень прочным, и Зиночка моя уселась на него отдохнуть. Только села — перегородки между дырочками под ее тяжестью разрушились, и пень под ней осел, как подушка.

— Скорей вставай! — закричал я.

Когда Зиночка вскочила, мы увидели, как из каждой дырочки пня выползло множество муравьев: ноздреватый пень оказался сплошным муравейником и только сохранил обличие пня.

СТАРЫЙ СКВОРЕЦ

Скворцы вывелись и улетели, и давно уже их место в скворечнике занято воробьями. Но до сих пор на ту же яблоню в хорошее, росистое утро прилетает старый скворец и поет.

Вот странно! Казалось бы, все уже кончено, самка давно вывела птенцов, детеныши выросли и улетели... Для чего же старый скворец прилетает каждое утро на яблоню, где прошла его весна, и поет?

ПОЛЯНКА В ЛЕСУ

Березки последнее свое золото ссыпают на ели и на уснувшие муравейники. Я иду по лесной тропе, и осенний лес мне становится как море, а полянка в лесу — как остров. На этом острове стоит тесно несколько елок, под ними я сел отдохнуть.

У этих елок, оказывается, вся жизнь вверху. Там в богатстве шишек хозяйствует белка, птицы клесты и, наверно, еще много неизвестных мне существ. Внизу же, под елями, мрачно, черно, и только видишь, как летит шелуха: это белки и клесты шелушат еловые шишки и достают себе из них вкусные семечки. Из такого семечка выросла когда-то и та высокая ель, под которой я сейчас сижу.

Это семечко занес когда-то ветер, и оно упало под березой между ее обнаженными корнями.

Елочка стала расти, а береза прикрывала ее от ожогов солнца и морозов.

Теперь эта ель обогнала березу и стоит рядом с ней, вершинка к вершинке, со сплетенными корнями.

Тихо я сижу под елкой на середине лесной поляны. Слышу, как шепчутся, падая, осенние листики.

Этот шелест падающих листьев будит спящих под деревьями зайцев, они встают и уходят куда-то из леса.

Вот один такой вышел из густых елок и остановился, увидев большую полянку. Слушает заяц, встал на задние лапки, огляделся: везде шелест, куда идти?

Не посмел идти прямо через поляну, а пошел вокруг всей поляны, от березки к березке.

Кто боится чего-то в лесу, тот лучше не ходи, пока падают листы и шепчутся.

Слушает заяц, и все ему кажется, будто кто-то шепчется сзади и крадется.

Можно, конечно, и трусливому зайцу набраться храбрости и не оглядываться, но тогда как бы ему не

попасть в настоящую беду: под шум листьев за ним лисица крадется; не оглянется храбрый заяц на шелест, а тут тебя под шумок и схватит рыжая кумушка.

СИЛАЧ

Муравьи разрыхлили землю, сверху она поросла брусникой, а под ягодой зародился гриб. Мало-помалу, напирая своей упругой шляпкой, он поднял вверх над собой целый свод с брусникой и сам, совершенно белый, показался на свет.

ОСЕННЯЯ РОСКА

Заосеняло. Мухи стучат в потолок. Воробьи табунятся. Грачи собирают упавшие зерна на убранных полях. Сороки семьями пасутся на дорогах. Росы по утрам холодные, серые.

Иная росинка в пазухе листа весь день просверкает.

ИВАН-ДА-МАРЬЯ

Поздней осенью бывает иногда совсем как ранней весной: там белый снег, там черная земля. Только весной из проталин пахнет землей, а осенью снегом. Так непременно бывает: мы привыкаем к снегу зимой, и весной нам пахнет земля, а летом принюхиваемся к земле, и поздней осенью пахнет нам снегом.

Редко, бывает, проглянет солнце на какой-нибудь час, но зато какая же это радость! Тогда большое удовольствие доставляет нам какой-нибудь десяток уже замерзших, но уцелевших от бурь листьев на иве или очень маленький голубой цветок под ногой.

Наклоняюсь к голубому цветку и с удивлением узнаю в нем Ивана: это один Иван остался от прежнего двойного цветка, всем известного Ивана-да-Марьи.

По правде говоря, Иван не настоящий цветок. Он сложен из очень мелких кудрявых листиков, и только цвет его фиолетовый, за то его и называют цветком. Настоящий цветок, с пестиками и тычинками, только желтая Марья. Это от Марьи упали на эту осеннюю землю семена, чтобы в новом году опять покрыть зем-

лю Иванами и Марьями. Дело Марьи много труднее, вот, верно, потому она и опала раньше Ивана.

Но мне нравится, что Иван перенес мороз и даже заголубел. Провожая глазами голубой цветок поздней осени, я говорю потихоньку:

— Иван, Иван, где теперь твоя Марья?

ОСИНКАМ ХОЛОДНО

В солнечный день осенью на опушке леса собрались молодые разноцветные осинки, густо одна к другой, как будто им там в лесу стало холодно и они вышли погреться на солнышко, на опушку.

Так иногда в деревнях выходят люди посидеть на завалинке, отдохнуть, поговорить после трудового дня.

ОСЕННИЕ ЛИСТИКИ

Перед самым восходом солнца на поляну ложится первый мороз. Притаиться, подождать у края — что там делается на лесной поляне!

В полумраке рассвета приходят невидимые лесные существа и потом начинают по всей поляне расстилать белые холсты.

Первые же лучи солнца, являясь, убирают холсты, и остается на белом зеленое место. Мало-помалу белое все растает, и только в тени деревьев и кочек долго еще сохраняются беленькие клинышки.

На голубом небе между золотыми деревьями не поймешь, что творится: уносит ветер листы или стайками собрались мелкие птички и несутся в теплые далекие края.

Ветер — заботливый хозяин. За лето везде побывает, и у него даже в самых густых местах не остается ни одного незнакомого листика.

А вот осень пришла — и заботливый хозяин убирает свой урожай.

Листья, падая, шепчутся, прощаясь навек. У них ведь так всегда: раз ты оторвался от родимого царства, то и прощайся, погиб.

БАРСУК

Прошлый год в это время земля была уже белая, теперь осень перестоялась, и по черной земле, далеко заметные, ходят и ложатся белые зайцы: вот кому теперь плохо! Но чего бояться серому барсуку? Мне кажется, барсуки еще ходят. Какие теперь они жирные! Пробую постеречь у норы.

Этот яр, где живут барсуки, до того крут, что, взбираясь туда, часто приходится на песке оставлять свою пятерню рядом с барсучьей. У ствола старой ели я сажусь и сквозь нижнюю еловую лапину слежу за главной норой.

Белочка, обкладывая мохом на зиму свое гайно, обронила посорку, и вот тут началась та самая тишина, слушая которую охотник может, не скучая, часами сидеть у норы барсука.

Под этим тяжелым небом, подпертым частыми елками, нет ни малейших намеков на движение солнца, но когда солнце садится, барсук это знает в своей темной норе и немного спустя с большой осторожностью пробует выйти на свою ночную охоту. Не раз, высунув нос, он фыркнет и спрячется и вдруг с необычайной живостью выскочит, и охотник не успеет моргнуть. Гораздо лучше садиться перед рассветом, когда барсук возвращается, — тогда он просто идет и далеко шелестит.

Но теперь, по времени, надо бы лежать барсуку в зимней спячке, теперь не каждый день он выходит и, жалко ночь напрасно сидеть и потом днем отсыпаться.

Не в кресле сидишь — ноги стали, как неживые, но барсук вдруг высунул нос, и все стало лучше, чем в кресле. Чуть показал нос и в тот же миг спрятался. Через полчаса еще показал, подумал и скрылся вовсе в норе...

Да так вот и не вышел. А я еще не успел дойти к леснику — полетели белые мухи. Неужели барсук, только высунув нос из норы, это почуял?

НАШ ЛАГЕРЬ

Так мы стояли на месте лагерем. Но земля двигалась — вертелась к солнцу той и другой стороной. От

этого дни сменяли ночи, и поутру мы встречали золотые деньки, а после дня наступали ночи, и вечером мы провожали солнышко за лесной стеной.

Земля вертелась и мчалась вокруг солнца, а от этого нам было сначала, будто мы из холодной, северной страны едем на юг — так наша зима сменилась весной, а весна — летом.

Потом из теплой страны, нашего лета, мы поехали в холодную — наступила осень. И когда стала зима, мы вернулись в Москву.

ЛИЛОВОЕ НЕБО

В декабре, если небо закрыто тучами, странно смеркается в хвойном лесу, почти страшно: небо наверху становится ровно лиловым, свисает, нижеет и торопит спасаться, а то в лесу скоро начнется свой, нечеловеческий порядок.

Мы поспешили домой обратно по своей утренней дорожке и увидели на ней свежий заячий след. Прошли еще немного и еще увидели новый след. Это значило, что зайцы, у которых день наш считается ночью и ночь — их трудовой день, встали с лежки и начали ходить.

Страшное лиловое небо в сумерках им было, как нам радостная утренняя заря.

Всего было только четыре часа. Я сказал:

— Какая будет длинная ночь!

— Самая длинная, — ответил Егор, — ходить, ходить зайцу, спать, спать мужику.

СИНИЙ ЛАПОТЬ

Через наш большой лес проводят шоссе с отдельными путями для легковых машин, для грузовиков, для телег и для пешеходов. Сейчас пока для этого шоссе только лес вырубили коридором. Хорошо смотреть вдоль по вырубке: две зеленые стены леса и небо в конце. Когда лес вырубали, то большие деревья куда-то увозили, мелкий же хворост — грачевник — собирали в огромные кучи. Хотели увезти и грачевник для отопления

фабрики, но не управились, и кучи по всей широкой вырубке остались зимовать.

Осенью охотники жаловались, что зайцы куда-то пропали, и некоторые связывали это исчезновение зайцев с вырубкой леса: рубили, стучали, гомонили и распугали. Когда же налетела пороша и по следам можно было разгадать все заячьи проделки, пришел следопыт Родионыч и сказал:

— Синий лапоть весь лежит под кучами грачевника.

Родионыч — в отличие от всех охотников — зайца называл не «косым чертом», а всегда «синим лаптем»; удивляться тут нечему: ведь на черта заяц не более похож, чем на лапоть, а если скажут, что синих лаптей не бывает на свете, то я скажу, что ведь и косых чертей тоже не бывает.

Слух о зайцах под кучами мгновенно обежал весь наш городок, и под выходной день охотники во главе с Родионычем стали стекаться ко мне.

Рано утром, на самом рассвете, вышли мы на охоту без собак: Родионыч был такой искусник, что лучше всякой гончей мог нагнать зайца на охотника. Как только стало видно настолько, что можно было отличить следы лисьи от заячьих, мы взяли заячий след, пошли по нему, и, конечно, он привел нас к одной куче грачевника, высокой, как наш деревянный дом с мезонином. Под этой кучей должен был лежать заяц, и мы, приготовив ружья, стали все кругом.

— Давай, — сказали мы Родионычу.

— Вылезай, синий лапоть! — крикнул он и сунул длинной палкой под кучу.

Заяц не выскочил. Родионыч оторопел. И, подумав, с очень серьезным лицом, оглядывая каждую мелочь на снегу, обошел всю кучу, и еще раз по большому кругу обошел: нигде не было выходного следа.

— Тут он, — сказал Родионыч уверенно. — Становитесь на места, ребятушки, он тут. Готов?

— Давай! — крикнули мы.

— Вылезай, синий лапоть! — крикнул Родионыч и трижды пырнул под грачевник такой длинной палкой, что конец ее на другой стороне чуть с ног не сбил одного молодого охотника.

И вот — нет, заяц не выскочил.

Такого конфуза с нашим старейшим следопытом еще

в жизни никогда не бывало; он даже в лице как будто немного опал. У нас же суета пошла, каждый стал по-своему о чем-то догадываться, во все совать свой нос, туда-сюда ходить по снегу и так, затирая все следы, отнимать всякую возможность разгадать проделку умного зайца.

И вот, вижу, Родионыч вдруг просиял, сел, довольный, на пень поодаль от охотников, свертывая себе папироску и моргает, вот подмаргивает мне и подзывает к себе.

Смекнув дело, незаметно для всех подхожу к Родионычу, а он мне показывает наверх, на самый верх засыпанной снегом высокой кучи грачевника.

— Гляди, — шепчет он, — синий-то лапоть какую с нами штуку играет.

Не сразу на белом снегу разглядел я две черные точки — глаза беляка — и еще две маленькие точки — черные кончики длинных белых ушей. Это голова торчала из-под грачевника и повертывалась в разные стороны за охотниками: куда они, туда и голова...

Стоило мне поднять ружье — и кончилась бы в одно мгновение жизнь умного зайца. Но мне стало жалко: мало ли их, глупых, лежит под кучами.

Родионыч без слов понял меня. Он смел себе из снега плотный комочек, выждал, когда охотники сгрудились на другой стороне кучи, и, хорошо наметившись, этим комочком пустил в зайца.

Никогда я не думал, что наш обыкновенный заяц-беляк, если он вдруг встанет на куче, да еще прыгнет вверх аршина на два, да объявится на фоне неба, — что наш же заяц может показаться гигантом на огромной скале!

А что стало с охотниками! Заяц ведь прямо к ним с неба упал. В одно мгновение все схватились за ружья — убить-то уж очень было легко. Но каждому охотнику хотелось раньше другого убить, и каждый, конечно, хватил, вовсе не целясь, а заяц живехонький пустился в кусты.

— Вот синий лапоть! — восхищенно сказал ему вслед Родионыч.

— Убит! — закричал один, молодой, горячий.

Но вдруг, как будто в ответ на «убит», в дальних

кустах мелькнул хвостик: этот хвостик охотники почему-то всегда называют «цветком».

Синий лапоть охотникам из дальних кустов только своим «цветком» помахал.

СМЕТЛИВЫЙ БЕЛЯК

Приехали мы в деревню на охоту по белым зайцам. С вечера ветер начался. Агафон Тимофеич успокоил: «Снега не будет». После того начался снег. «Маленький, — сказал Агафон, — перестанет». Снег пошел большой, загудела метель. «Вам не помешает, — успокоил хозяин, — в полночь перестанет, выйдут зайцы, вам же легче будет найти их по коротким следам. Все, что ни делается, все к лучшему». Утром просыпаемся — снег валом валит. Мы хозяина к ответу, а он нам рассказывает про одного попа в далекое, старое время.

Рассказывает Агафон, что будто бы тогда у одного барина пала любимая лошадь. Пришел поп и говорит: «Не горюй, все к лучшему». А на другой день у барина еще одна лошадь пала. Опять тот же поп говорит: «Не горюй, что ни делается на свете, все к лучшему». Так терпел, терпел барин, и когда, наконец, десятая лошадь пала, велит позвать попа: хочет отколотить, а может быть, и вовсе решить. А было это в самое половодье, по пути к барину попади поп в яму с водой. Пришлось вернуться назад, отогреться на печке. Утром же, когда поп явился, гнев у барина прошел, и поп рассказывает, как он вчера шел к нему и в яму попал. «Ну, счастлив же твой бог, — сказал барин, — что ты вчера в яму попал». — «Счастлив, — ответил поп, — ведь я же вам и говорил постоянно, что ни делается на свете, все к лучшему».

— К чему ты нам рассказываешь все это? — спросили мы Агафона.

— Да что вы на метель жалуетесь: идите на охоту и увидите, что все к лучшему.

Метель вскоре перестала. Но ветер продолжался. Мы все-таки вышли промяться. И, переходя поле, говорили между собой, что вот если случится нам поднять беляка и был бы он вправду умный, то стоило бы ему только одно поле перебежать, и след за ним в один миг заме-

тет, и собака сразу же потеряет. Но где ему догадаться: будет вертеться в лесу, пока не убьем. Вскоре мы вошли в лес. Трубач случайно наткнулся на беляка и погнал. Весело нам стало: нигде ни одного следа, и по свежему, нетронутому снегу бежит наш беляк, как по книге. «Что ни делается, все к лучшему!» — весело сказали мы друг другу и разбежались по кругу. И только стали на места, гон прекратился. Пошли посмотреть, что такое. И оказалось, беляк-то был действительно умный и как будто услыхал наш разговор: из лесу он выбежал в поле, и следы его перемело, да так, что и мы сами кругом поле обошли и нигде следа не нашли. Пришли домой с пустыми руками и говорим Агафону:

— Ну, как это ты понимаешь?

— Так и понимаю, что тоже все к лучшему, — сказал Агафон, — зайчик спасся, а вот увидите, сколько от него разведется к будущему году. Что ни делается на свете, все к лучшему.

ЕЖ

Раз я шел по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа; он тоже заметил меня, свернулся и затукал: тук-тук-тук. Очень похоже было, как если бы вдали шел автомобиль. Я прикоснулся к нему кончиком сапога; он страшно фыркнул и поддал своими иголками в сапог.

— А, ты так со мной! — сказал я. И кончиком сапога спихнул его в ручей. Мгновенно еж развернулся в воде и поплыл к берегу, как маленькая свинья, только вместо щетины на спине были иголки. Я взял палочку, скатил ею ежа в свою шляпу и понес домой.

Мышей у меня было много, я слышал — ежик их ловит, и решил: пусть он живет у меня и ловит мышей.

Так, положил я этот колючий комок посреди пола и сел писать, а сам уголком глаза все смотрю на ежа. Недолго он лежал неподвижно: как только я затих у стола, ежик развернулся, огляделся, туда попробовал идти, сюда и выбрал себе наконец место под кроватью и там совершенно затих.

Когда стемнело, я зажег лампу и — здравствуйте! Ежик выбежал из-под кровати. Он, конечно, подумал на

лампу, что это луна взошла в лесу: при луне ежи любят бегать по лесным полянкам. И так он пустился бегать по комнате, представляя, что это лесная полянка. Я взял трубку, закурил и пустил возле луны облачко. Стало совсем как в лесу: и луна, и облака, а ноги мои были как стволы деревьев и, наверное, очень нравились ежу, он так и шнырял между ними, понюхивая и почесывая иголками задник у моих сапог.

Прочитав газету, я уронил ее на пол, перешел в кровать и уснул.

Сплю я всегда очень чутко. Слышу — какой-то шелест у меня в комнате, чиркнул спичкой, зажег свечу и только заметил, как еж мелькнул под кровать. А газета лежала уже не возле стола, а посредине комнаты. Так я и оставил гореть свечу и сам не сплю, раздумывая: «Зачем это ежику газета понадобилась?» Скоро мой жилец выбежал из-под кровати и прямо к газете, завертелся возле нее, шумел, шумел и наконец ухитрился: надел себе как-то на колючки уголок газеты и потащил ее, огромную, в угол.

Тут я и понял его: газета ему была как в лесу сухая листва, он тащил ее себе для гнезда, и оказалось, правда, в скором времени еж весь обернулся газетой и сделал себе из нее настоящее гнездо. Кончив это важное дело, он вышел из своего жилища и остановился против кровати, разглядывая свечку — луну.

Я подпустил облака и спрашиваю:

— Что тебе еще надо?

Ежик не испугался.

— Пить хочешь?

Я встал. Ежик не бежит.

Взял я тарелку, поставил на пол, принес ведро с водой, и то налью воды на тарелку, то опять вылью в ведро, и так шумлю, будто это ручеек подплескивает.

— Ну, иди, иди, — говорю, — видишь, я для тебя и луну устроил, и облака пустил, и вот тебе вода.

Смотрю: будто двинулся вперед. А я немного подвинул к нему свое озеро. Он двинется — и я двину, да так и сошлись.

— Пей, — говорю окончательно.

Он и залакал.

А я так легонько по колючкам рукой провел, будто погладил, и все приговариваю:

— Хороший ты малый, хороший!

Напился еж, я говорю:

— Давай спать.

Лег и задул свечу.

Вот не знаю, сколько я спал, слышу: опять у меня в комнате работа. Зажигаю свечу — и что же вы подумаете? Ежик бежит по комнате, и на колючках у него яблоко. Прибежал в гнездо, сложил его там и за другим бежит в уголок, а в углу стоял мешок с яблоками и завалился. Вот еж подбежал, свернулся около яблок, дернулся и опять бежит, на колючках другое яблоко тащит в гнездо.

Так вот и устроился у меня ежик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к себе на стол и то молока ему налью на блюдечко — выпьет, то булочки дам — съест.

ЖИВАЯ НОЧЬ

Стало быстро теплеть, пришли тучи летние, грянул первый гром, и лягушки, все, какие только были в лужах, заволновались так сильно, что от них заволновалась вода...

После того как пролил теплый дождь, Петя занялся рыбой: он поставил в торфяном пруду сети на карасей и место, где были у него сети, заметил по маленьким березам; там на берегу около сетей стояло десять маленьких, в рост человека, березок. Веточки их еще были голые, без листьев.

Солнце садилось пухлое, и, когда село, началась живая ночь: пели все соловьи, все лягушки орали...

Но так часто на свете бывает, что, когда всем хорошо, бедному человеку приходит в голову бедная мысль и не дает ему радоваться. Пете тоже не спалось, и вот пришло ему в голову, что пришли воры и унесли сети. Вот почему Петя на рассвете бежит к своим сетям и уже издали видит, что там, где он сети поставил, теперь стоят люди — верно, воры.

В ужасной злобе бежит он туда и вдруг останавливается, улыбается, ему стыдно: это не люди — это за

ночь те десять березок оделись в зелень и будто люди стоят...

Когда же он вынул свою первую сеть, в ней было шестьдесят три карася.

СТАРЫЙ ДЕД

У старого огромного пня я сел прямо на землю, пень внутри совершенная труха, только эту труху держит твердая крайняя древесина. А из трухи выросла березка и распустилась. И множество цветущих трав поднимается с земли к этому огромному пню, как к любимому деду...

На самом пне, на одном только светлом солнечном пятнышке, на горячем месте, я сосчитал десять кузнечиков, две ящерицы, шесть больших мух, две жужелицы. Вокруг высокие папоротники собрались, как гости.

А когда в гостиную у старого пня ворвется самое нежное дыханье ветра, один папоротник наклонится к другому, шепнет что-то, и тот шепнет третьему, и все гости обменяются мыслями. И снова тишина.

ДЕДУШКИН ВАЛЕНОК

Хорошо помню — дед Михей в своих валенках проходил лет десять. А сколько лет он в них до меня ходил, сказать не могу. Поглядит, бывало, себе на ноги и скажет:

— Валенки опять проходились, надо подшить.

И принесет с базара кусок войлока, вырежет из него подошву, и опять валенки идут, как новенькие.

И так много лет прошло, и стал я думать, что на свете все имеет конец, все умирает и только одни дедушкины валенки вечные.

Случилось, у деда началась сильная ломота в ногах. Никогда дед у нас не хворал, а тут стал жаловаться, позвал даже фельдшера.

— Это у тебя от холодной воды, — сказал фельдшер, — тебе надо бросить рыбу ловить.

— Я только и живу рыбой, — ответил дед, — ногу в воде мне нельзя не мочить.

— Нельзя не мочить, — посоветовал фельдшер, — надевай, когда в воду лезешь, валенки.

Этот совет вышел деду на пользу: ломота в ногах прошла. Но только после дед избаловался, в реку стал лазить только в валенках и, конечно, тер их беспощадно о придонные камешки. Сильно подались от этого валенки, и не только в подошвах, а и выше, на месте изгиба подошвы, показались трещинки.

«Верно, это правда, — подумал я, — что всему на свете конец бывает, не могут и валенки деду служить без конца: валенкам приходит конец».

Люди стали деду указывать на валенки:

— Пора, дед, валенкам твоим дать покой, пора их отдать воронам на гнезда.

Не тут-то было! Дед Михей, чтобы снег в трещинки не забивался, окунул валенки в воду — и на мороз. Конечно, на морозе вода в трещинках валенка замерзла, и лед заделал трещинки. А дед после того валенки еще раз окунул в воду, и весь валенок от этого покрылся льдом. Вот какие валенки после этого стали теплые и прочные: мне самому в дедушкиных валенках приходилось незамерзающее болото зимой переходить — и хоть бы что...

И я опять вернулся к той мысли, что, пожалуй, дедушкиным валенкам никогда и не будет конца.

Но случилось однажды — дед наш захворал. Когда пришлось ему по нужде выйти, надел в сенях валенки, а когда вернулся, забыл их снять в сенях и оставить на холоде. Так в этих обледенелых валенках и залез на горячую печку.

Не то беда, конечно, что вода от растаявших валенок с печки натекла в ведро с молоком, — это что! А вот беда, что валенки бессмертные в этот раз кончились. Да иначе и быть не могло. Если налить в бутылку воды и поставить на мороз, вода обратится в лед, льду будет тесно, и бутылку он разорвет. Так и этот лед в трещинках валенка, конечно, шерсть везде разрыхлил и порвал, и, когда все растаяло, все стало трухой...

Наш упрямый дед, как только поправился, попробовал валенки еще раз заморозить и походил даже немного, но вскоре весна пришла, валенки в сенцах растаяли и вдруг расползлись.

— Верно, правда, — сказал дед в сердцах, — пришла

пора отдыхать в вороньих гнездах. — И в сердцах швырнул валенок с высокого берега в репейники, где я в то время ловил щеглов и разных птичек.

— Почему же валенки только воронам? — сказал я. — Всякая птичка весной тащит в гнездо шерстинку, пушинку, соломинку.

Я спросил об этом деда как раз в то время как он замахнулся было вторым валенком.

— Всяким птичкам, — согласился дед, — нужна шерсть на гнездо, и зверькам всяким, мышкам, белочкам, всем это нужно, для всех полезная вещь.

И тут вспомнил дед про нашего охотника, что давно ему охотник напоминал о валенках: пора, мол, их отдать ему на пыжи. И второй валенок не стал швырять и велел мне отнести его охотнику.

Тут вскоре началась птичья пора. Вниз, к реке, на репейники полетели всякие весенние птички и, поклевывая головки репейников, обратили свое внимание на валенок. Каждая птичка его заметила и, когда пришла пора вить гнезда, с утра до ночи стали разбирать на клочки дедушкин валенок. За одну какую-то неделю весь валенок по клочку растащили птички на гнезда, устроились, сели на яйца и высиживали, а самцы пели.

На тепле валенка вывелись и выросли птички и, когда стало холодно, тучами улетели в теплые края. Весной они найдут опять остатки дедушкиного валенка. Те же гнездышки, что на земле были сделаны и на кустах, тоже не пропадут: с кустов все лягут на землю, а на земле их мышки найдут и растащат остатки валенка на свои подземные гнезда.

Много в моей жизни походил я по лесам и, когда приходилось найти птичье гнездышко с подстилом из войлока, думал, как маленький:

«Все на свете имеет конец, все умирает, и только одни дедушкины валенки вечные».

КУРИЦА НА СТОЛБАХ

Весной соседи подарили нам четыре гусиных яйца, и мы подложили их в гнездо нашей черной курицы, прозванной Пиковой Дамой. Прошли положенные дни для высиживания, и Пиковая Дама вывела четырех жел-

теньких гуськов. Они пищали, посвистывали совсем по-иному, чем цыплята, но Пиковая Дама, важная, нахохленная, не хотела ничего замечать и относилась к гусятам с той же материнской заботливостью, как к цыплятам.

Прошла весна, настало лето, везде показались одуванчики. Молодые гуськи, если шеи вытянут, становятся чуть ли не выше матери, но все еще ходят за ней. Бывает, однако, мать раскапывает лапками землю и зовет гуськов, а они занимаются одуванчиками, тукают их носами и пускают пушинки по ветру. Тогда Пиковая Дама начинает поглядывать в их сторону, как нам кажется, с некоторой долей подозрения. Бывает, часами, распушенная, с квохтаньем копает она, а им хоть бы что: только посвистывают и поклевывают зеленую травку. Бывает, собака захочет пройти куда-нибудь мимо нее — куда тут! Кинется на собаку и прогонит. А после и поглядит на гуськов, бывает, задумчиво поглядит...

Мы стали следить за курицей и ждать такого события, после которого наконец она догадается, что дети ее вовсе даже на кур не похожи и не стоит из-за них, рискуя жизнью, бросаться на собак.

И вот однажды у нас на дворе событие это случилось. Пришел насыщенный ароматом цветов солнечный июньский день. Вдруг солнце померкло, и петух закричал.

«Квох, квох!» — ответила петуху курица, зазывая своих гусят под навес.

— Батюшки, туча-то какая находит! — закричали хозяйки и бросились спасать развешанное белье.

Грянул гром, сверкнула молния.

«Квох, квох!» — настаивала курица Пиковая Дама.

И молодые гуси, подняв высоко шеи свои, как четыре столба, пошли за курицей под навес. Удивительно нам было смотреть, как по приказанию курицы четыре порядочных, высоких, как сама курица, гусенка сложились в маленькие штучки, подлезли под наседку и она, распушив перья, распластав крылья над ними, укрыла их и угрела своим материнским теплом.

Но гроза была недолгая.

Туча пролилась, ушла, и солнце снова засияло над нашим маленьким садом.

Когда с крыши перестало литься и запели разные

птички, это услыхали гусята под курицей, и им, молодым, конечно, захотелось на волю.

«На волю, на волю!» — засвистали они.

«Квох, квох!» — ответила курица.

И это значило:

«Посидите немного, еще очень свежо».

«Вот еще! — свистели гусята. — На волю, на волю!»

И вдруг поднялись на ногах и подняли шеи, и курица поднялась, как на четырех столбах, и закачалась в воздухе высоко от земли.

Вот с этого разу все и кончилось у Пиковой Дамы с гусями: она стала ходить отдельно, гуси отдельно; видно, тут только она все поняла, и во второй раз ей уже не захотелось попасть на столбы.

ТАИНСТВЕННЫЙ ЯЩИК

В Сибири, в местности, где водится очень много волков, я спросил одного охотника, имеющего большую награду за партизанскую войну:

— Бывают ли у вас случаи, чтобы волки нападали на человека?

— Бывают, — ответил он. — Да что из этого? У человека оружие, человек — сила, а что волк? Собака, и больше ничего.

— Однако если эта собака да на безоружного человека...

— И то ничего, — засмеялся партизан. — У человека самое сильное оружие — ум, находчивость и в особенности такая оборотливость, чтобы из всякой вещи сделать себе оружие. Раз было, один охотник простой ящик превратил в оружие.

Партизан рассказал случай из очень опасной охоты на волков с поросенком. Лунной ночью сели в сани четыре охотника и захватили с собой ящик с поросенком. Ящик был большой, сшитый из полутеса. В этот ящик без крышки посадили поросенка и поехали в степь, где волков великое множество. А было это зимой, когда волки голодные. Вот охотники выехали в поле и начали поросенка тянуть кто за ухо, кто за ногу, кто за хвост. Поросенок от этого стал визжать: больше тянут — больше визжит, и все звонче и звонче, и на всю степь. Со

всех сторон на этот поросячий визг стали собираться волчьи стаи и настигать охотничьи сани. Когда волки приблизились, вдруг лошадь их почуяла — и как хватит! Так и полетел из саней ящик с поросенком и, самое скверное, вывалился один охотник без ружья и даже без шапки.

Часть волков умчалась за взбешенной лошадью, другая же часть набросилась на поросенка, и в один миг от него ничего не осталось. Когда же эти волки, закусив поросенком, захотели приступить к безоружному человеку, вдруг глядят, а человек этот исчез и на дороге только ящик один лежит вверх дном. Вот пришли волки к ящику и видят: ящик-то не простой — ящик движется с дороги к обочине и с обочины в глубокий снег. Пошли волки осторожно за ящиком, и как только этот ящик попал на глубокий снег, на глазах волков он стал нижеть и нижеть.

Волки оробели, но, постояв, оправились и со всех сторон ящик окружили. Стоят волки и думают, а ящик все ниже да ниже. Ближе волки подходят, а ящик не дремлет: ниже да ниже. Думают волки: «Что за диво? Так будем дожидаться — ящик и вовсе под снег уйдет».

Старший волк осмелился, подошел к ящику, приставил нос свой к щелке...

И только он свой волчий нос приставил к этой щелке, как дунет на него из щелки! Сразу все волки бросились в сторону, какой куда попал, и тут же вскоре охотники вернулись на помощь, и человек живой и здоровый вышел из ящика.

— Вот и все, — сказал партизан. — А вы говорите, что безоружному нельзя против волков выходить. На то и ум у человека, чтобы он из всего мог себе делать защиту

— Позволь, — сказал я, — ты мне сейчас сказал, что человек из-под ящика чем-то дунул.

— Чем дунул? — засмеялся партизан. — А словом своим человеческим дунул, и они разбежались.

— Какое же это слово такое он знал против волков?

— Обыкновенное слово, — сказал партизан. — Какие слова говорят в таких случаях... «Дураки вы, волки», — сказал, — и больше ничего.

БАРСУКИ

Поехали зимой колхозники в луга за сеном, шевельнули вилами стог, а в нем барсук зимовал.

На другой день ребята решили идти бить барсуков. Пустили в нору собаку. Барсучиха выбежала. Увидели ребята, что барсучиха тихо бегает, что можно догнать, не стали стрелять и бросились все за ней. Догнали. Что делать? Ружья побросали у нор, палок в руках нет, голыми руками взять боязно. А между тем барсучиха нашла себе новый ход под землю и скрылась.

Собака вытащила гнездо и барсучонка: порядочный, с хорошего щенка.

ЗВЕРИ

Маленького слепого лисенка вынули из норы, дали воспитывать молочной кошке, и она любила его, и он ласкался к ней, как к родной матери.

В лукошке окотилась кошка, котят забросили, другая вскоре окотилась в том же лукошке — оставили одного. Тогда обе кошки одного котенка стали кормить: родная уйдет — лезет в лукошко чужая. И не только волк, даже тигр будет с величайшей нежностью заглядывать в глаза, если человек выходит его и с малых лет станет ему вместо матери.

Несправедливо бранятся зверем, хуже нет, когда скажут: «Вот настоящий зверь». А между тем у зверей этих хранится бездонный запас любви и нежности.

ЛИСИЧКИН ХЛЕБ

Однажды я проходил по лесу целый день и под вечер вернулся домой с богатой добычей. Снял я с плеч тяжелую сумку и стал свое добро выкладывать на стол.

— Это что за птица? — спросила Зиночка.

— Терентий, — ответил я.

И рассказал ей про тетерева: как он живет в лесу, как бормочет весной, как березовые почки клюет, ягодки осенью в болотах собирает, зимой греется от ветра

под снегом. Рассказал ей тоже про рябчика, показал ей, что серенький, с хохолком, и посвистел в дудочку по-рябчиному и ей дал посвистеть. Еще я высыпал на стол много белых грибов, и красных, и черных. Еще у меня была в кармане кровавая ягода костяника, и голубая черника, и красная брусника. Еще я принес с собой ароматный комочек сосновой смолы, дал понюхать девочке и сказал, что этой смолкой деревья лечатся.

— Кто же их там лечит? — спросила Зиночка.

— Сами лечатся, — ответил я. — Придет, бывает, охотник, захочется ему отдохнуть, он и воткнет топор в дерево и на топор сумку повесит, а сам ляжет под деревом. Поспит, отдохнет. Вынет из дерева топор, сумку наденет, уйдет. А из ранки от топора из дерева побежит эта ароматная смолка и ранку эту затянет.

Тоже нарочно для Зиночки принес я разных чудесных трав по листику, по корешку, по цветочку: кукушкины слезки, валерьянка, петров крест, заячья капуста. И как раз под заячьей капустой лежал у меня кусок черного хлеба: со мной это постоянно бывает, что когда не возьму хлеба в лес — голодно, а возьму — забуду съесть и назад принесу. А Зиночка, когда увидала у меня под заячьей капустой черный хлеб, так и обомлела:

— Откуда же это в лесу взялся хлеб?

— Что же тут удивительного? Ведь есть же там капуста.

— Заячья...

— А хлеб лисичкин. Отведай.

Осторожно попробовала и начала есть.

— Хороший лисичкин хлеб.

И съела весь мой черный хлеб дочиста. Так и пошло у нас: Зиночка, копуля такая, часто и белый-то хлеб не берет, а как я из лесу лисичкин хлеб принесу, съест всегда его весь и похвалит:

— Лисичкин хлеб куда лучше нашего!

ЖИЗНЬ НА РЕМЕШКЕ

Зиночка моя совсем приуныла: никак не одолеет арифметику. Чтоб развлечь ее, я взял бедняжку с собой

в лес. Мы вышли с ней на полянку, где я охотился в прошлом году. Чтоб заметить это место на вырубке, я сломил тогда молодую березку, она повисла, помню, почти только на одном узеньком ремешке коры.

Я узнал это место, и вот удивление: березка висела зеленая на одном ремешке; ремешок коры подавал сок висящим сучьям.

— Ну, Зиночка, — сказал я, — не унывай. Коли березка на одном ремешке живет и зеленеет, то уж у тебя-то хватит духу на арифметику.

«ИЗОБРЕТАТЕЛЬ»

В одном болоте, на кочке под ивой, вывелись дикие кряковые утята. Вскоре после этого мать повела их к озеру по коровьей тропе. Я заметил их издали, спрятался за дерево, и утята подошли к самым моим ногам. Трех из них я взял себе на воспитание, остальные шестнадцать пошли дальше по коровьей тропе.

Продержал я у себя этих черных утят, и стали они вскоре все серыми. После из серых вышел один красавец, разноцветный селезень, и две уточки: Дуся и Муся. Мы им крылья подрезали — чтобы не улетели, и жили они у нас на дворе вместе с домашними птицами: куры были у нас и гуси.

С наступлением новой весны устроили мы своим дикарям из всякого хлама в подвале кочки, как на болоте, а на них — гнезда.

Дуся положила себе в гнездо шестнадцать яиц и стала высиживать утят.

Муся положила восемнадцать, но сидеть на них не захотела. Как мы ни бились, пустая голова не захотела быть матерью.

И мы посадили на утиные яйца нашу важную черную курицу — Пиковую Даму.

Пришло время, вывелись наши утята. Мы их некоторое время подержали на кухне, в тепле, крошили им яйца, ухаживали. Через несколько дней наступила очень хорошая, теплая погода. Дуся повела своих черненьких к пруду, а Пиковая Дама — своих в огород, за червями.

«Свись-свись!» — утята в пруду.

«Кряк-кряк!» — отвечает им утка.

«Свись-свись!» — утята в огороде.

«Квох-квох!» — отвечает им курица.

Утята, конечно, не могут понять, что значит «квох-квох», а что слышится с пруда, это им хорошо известно.

«Свись-свись!» — это значит: «Свои к своим!»

А «кряк-кряк» значит: «Вы, утки, вы, кряквы, скорей плывите!»

И они, конечно, глядят туда, к пруду.

«Свои к своим!»

И бегут.

«Плывите, плывите!»

И плывут.

«Квох-квох!» — упирается важная птица курица на берегу.

Они все плывут и плывут. Сосвистались, сплылись, радостно приняла их в свою семью Дуся; по Мусе они были ей родные племянники.

Весь день большая сборная утиная семья плавала на прудике, и весь день Пиковая Дама, распушенная, сердитая, квохтала, ворчала, копала ногой червей на берегу, старалась привлечь червями утят и квохтала им о том, что уж очень-то много червей, таких хороших червей!

«Дрянь-дрянь!» — отвечала ей кряква.

А вечером она всех своих утят провела одной длинной веревочкой по сухой тропинке. Под самым носом важной птицы прошли они, черненькие, с большими утиными носами, ни один даже на такую мать и не поглядел.

Мы всех их собрали в одну высокую корзинку и оставили ночевать в теплой кухне возле плиты.

Утром, когда мы еще спали, Дуся вылезла из корзины, ходила вокруг по полу, кричала, вызывала к себе утят. В тридцать голосов ей на крик отвечали свистуны. На утиный крик стены нашего дома, сделанного из звонкого соснового леса, отзывались по-своему. И все-таки в этой кутерьме мы расслышали отдельно голос одного утёнка.

— Слышите? — спросил я своих ребят.

Они прислушались.

— Слышим! — закричали.

И пошли в кухню.

Там, оказалось, Дуся была не одна на полу. С ней рядом бегал один утенок, очень беспокоился и непрерывно свистел. Этот утенок, как и все другие, был ростом с небольшой огурец. Как же мог такой-то воин перелезть стену корзинки высотой не менее как сантиметров в тридцать?

Стали мы об этом догадываться, и тут явился новый вопрос: сам утенок придумал себе какой-нибудь способ выбраться из корзины вслед за матерью или же она случайно задела его каким-нибудь своим крылом и выбросила?

Я перевязал ножку этого утенка ленточкой и пустил в общее стадо.

Переспали мы ночь, и утром, как только раздался в доме утиный утренний крик, — мы в кухню.

На полу вместе с Дусей бегал утенок с перевязанной лапкой.

Все утята, заключенные в корзине, свистели, рвались на волю и не могли ничего сделать. Этот выбрался.

Я сказал:

— Он что-то придумал.

— Он изобретатель! — крикнул Лева.

Тогда я задумал посмотреть, каким же способом этот «изобретатель» решает труднейшую задачу: на своих утиных перепончатых лапках подняться по отвесной стене. Я встал на следующее утро до свету, когда и ребята мои и утята спали непробудным сном. В кухне я сел возле выключателя, чтобы сразу, когда надо будет, дать свет и рассмотреть события в глубине корзины.

И вот побелело окно. Стало светать.

— Кряк-кряк! — проговорила Дуся.

«Свись-свись!» — ответил единственный утенок.

И все замерло. Спали ребята, спали утята.

Раздался гудок на фабрике. Свету прибавилось.

— Кряк-кряк! — повторила Дуся.

Никто не ответил. Я понял: «изобретателю» сейчас некогда, сейчас, наверно, он решает свою труднейшую задачу.

И я включил свет.

Ну, так вот я и знал! Утка еще не встала, и голова ее еще была вровень с краем корзины. Все утята спали в тепле под матерью, только один, с перевязанной лап-

кой, вылез и по перьям матери, как по кирпичикам, взбирался вверх, к ней на спину.

Когда Дуся встала, она подняла его высоко, на уровень с краем корзины. По ее спине утенок, как мышь, пробежал до края — и кувырк вниз! Вслед за ним мать тоже вывалилась на пол, и началась обычная утренняя кутерьма: крик, свист на весь дом.

Дня через два после этого утром на полу появилось сразу три утенка, потом пять, и пошло, и пошло: чуть только крикнет утром Дуся, все утята к ней на спину и потом валятся вниз.

А первого утенка, проложившего путь для других, мои дети так и прозвали Изобретателем.

СВАТ

Подарили мне небольшую собачку редкостной породы спаниель, величиной с два больших кота, а уши до самой земли. Когда ест — уши мокнут, когда нюхает землю — передними лапами наступает на свои уши.

«Ухан» следовало бы назвать его по-русски, но у него кличка была английская — Джимми. Не нравилась мне чужая кличка, такая незвучная: изволь орать «Джимми», когда дрессируемый щенок помчится за котом или зайцем. Мы сначала превратили Джимми в арабского Джина, а когда этот арабский Джин засел верхом на утку нашу и начал ее жать, то мы все разом закричали на него не Джин, а Жим, в смысле «не жми».

И так оно и пошло бы, наверное, Жим, но случилось однажды, наш спаниель засел верхом на Хромку, нашу охотничью ручную уточку, без того уже убогую, хроменькую.

— Жим, перестать! Жим, не жми! — закричали мы ему.

Но он не слушал и продолжал давить Хромку. В это время за калиткой на улице прохожий звучно крикнул кому-то:

— Сват!

И, услыхав этого «свата», Жим почему-то бросил утку.

— Вот кличка-то! — сказал я. — И звучная и милая. Давайте попробуем Жима звать Сватом.

В это время по улице люди из деревни шли на базар. Не успел я это сказать своим, как послышался за калиткой отчетливый разговор каких-то прохожих:

— Да он мне, милый, не сват, не брат, — сказал один.

А другой ему сочувственно:

— И не сват, и не кум.

И пошло, как под музыку:

Не тесть, и не зять,
И не шурин, не свояк.

После некоторого молчания и уже издали, чуть слышно:

— Никакая не родня, а просто седьмая вода на киселе.

На другой день случилось: Жим разогнал нашего кота и сам ударился за ним через подворотню на улицу. Я выбежал в калитку и во все горло закричал:

— Сват!

Тут соседи мои и мальчишки-голубятники удивились, кого это я зову сватом.

А кот в это время, сделав круг и не успев вскочить где-нибудь на дерево, бежал обратно, и за ним, чуть ли не на хвосте кошачьем, мчался Сват. Тогда по лицу моему, по всему удовлетворенному виду соседи и все, кто был на улице, поняли, кто был моим сватом. И сколько тут было смеху, сколько звонкой радости! Старый и малый — все орали вслед бегущему коту и собачке: кто орал «Сват», кто — «Кум», кто «Тесть», кто — «Зять», кто «Шурин», кто — «Деверь», кто — «Свояк».

Кот же, конечно, нырнул в подворотню и, чувствуя у самого хвоста своего морду Свата, махнул вверх на машину. А Сват, конечно, за ним тоже на машину. Васька, прижатый к окну шофера, вглядывается холодным, расчетливым глазом и медленно заносит назад правую лапу точно так же, как бойцы заносят назад руку с гранатой, чтобы с силой бросить вперед.

И когда нос Свата был возле кота, граната ударила по носу и с шипом разорвалась, а я, сочувствуя коту, сказал:

— Я тебе не сват, не брат.

И столько раз надавал кот лапой Свату, что я успел принести фотоаппарат и снять их и докончить им свою присказку.

Не сват, не брат,
Не тесть, не кум,
Не зять, не свояк,
И не шурин, и никакая не родня,
Седьмая вода на киселе.

ПИКОВАЯ ДАМА

Курица непобедима, когда она, пренебрегая опасностью, бросается защищать своего птенца. Моему Трубачу стоило только слегка нажать челюстями, чтобы уничтожить ее, но громадный гонец, умеющий постоять за себя и в борьбе с волками, поджав хвост, бежит в свою конуру от обыкновенной курицы.

Мы зовем нашу черную наседку за необычайную ее родительскую злобу при защите детей, за ее клюв-пику на голове Пиковой Дамой. Каждую весну мы сажаем ее на яйца диких уток (охотничьих), и она высиживает и выхаживает нам утят вместо цыплят. В нынешнем году случилось, мы недосмотрели: выведенные утята преждевременно попали на холодную росу, подмочили пупки и погибли, кроме единственного. Все наши заметили, что в нынешнем году Пиковая Дама была во сто раз злей, чем всегда.

Как это понять?

Не думаю, что курица способна обидеться на то, что получились утята вместо цыплят. И раз уж села курица на яйца, недоглядев, что ей приходится сидеть, и надо высидеть, и надо потом выхаживать птенцов, надо защищать от врагов, и надо все довести до конца. Так она и водит их и не позволяет себе их даже разглядывать с сомнением: «Да цыплята ли это?»

Нет, я думаю, этой весной Пиковая Дама была раздражена не обманом, а гибелью утят, и особенное беспокойство ее за жизнь единственного утенка понятно: везде родители беспокоятся о ребенке больше, когда он единственный...

Но бедный, бедный мой Грашка!

Это грач; с отломанным крылом он пришел ко мне

на огород и стал привыкать к этой ужасной для птицы бескрылой жизни на земле и уже стал подбегать на мой зов «Грашка», как вдруг однажды в мое отсутствие Пиковая Дама заподозрила его в покушении на своего утенка и прогнала за пределы моего огорода, и он больше ко мне после того не пришел.

Что грач! Добродушная, уже пожилая теперь, моя легавая Лада часами выглядывает из дверей, выбирает местечко, где ей можно было бы безопасно от курицы до ветру сходить. А Трубач, умеющий бороться с волками! Никогда он не выйдет из конуры, не проверив острым глазом своим, свободен ли путь, нет ли вблизи где-нибудь страшной черной курицы.

Но что тут говорить о собаках — хорош и я сам! На днях вывел из дому погулять своего шестимесячного щенка Травку и только завернул за овин, гляжу — передо мною утенок стоит. Курицы возле не было, но я себе ее вообразил и в ужасе, что она выклюнет прекраснейший глаз у Травки, бросился бежать, и как потом радовался — подумать только, я радовался! — что спасся от курицы!

Было вот тоже в прошлом году замечательное происшествие с этой сердитой курицей. В то время, когда у нас прохладными светло-сумеречными ночами стали сено косить на лугах, я вздумал немного промять своего Трубача и дать погонять ему лисичку или зайца в лесу. В густом ельнике, на перекрестке двух зеленых дорожек, я дал волю Трубачу, и он сразу же ткнулся в куст, вытурил молодого русака и с ужасным ревом погнал его по зеленой дорожке. В это время зайцев нельзя убивать; я был без ружья и готовился на несколько часов отдаться наслаждению любезнейшей для охотника музыкой. Но вдруг где-то около деревни собака скололась, гон прекратился, и очень скоро возвратился Трубач, очень смущенный, с опущенным хвостом, и на светлых пятнах его была кровь (мастью он желто-пегий в румянах).

Всякий знает, что волк не будет трогать собаку, когда можно всюду в поле подхватить овцу. А если не волк, то почему же Трубач в крови и в таком необычайном смущении?

Смешная мысль мне пришла в голову. Мне представилось, что из всех зайцев, столь робких всюду,

нашелся единственный в мире настоящий и действительно храбрый, которому стыдно стало бежать от собаки.

«Лучше умру!» — подумал мой заяц. И, завернув себе прямо в пяту, бросился на Трубача. И когда огромный пес увидал, что заяц бежит на него, то в ужасе бросился назад и бежал не помня себя чащей и обдирал до крови спину. Так заяц и пригнал ко мне Трубача.

Возможно ли это?

Нет! С человеком так могло случиться, но у зайцев так не бывает.

По той самой зеленой дорожке, где бежал русак от Трубача, я спустился из леса на луг и тут увидел, что косцы, смеясь, оживленно беседовали и, завидев меня, стали звать скорее к себе, как все люди зовут, когда душа переполнена и хочется облегчить ее.

— Ну и дела!

— Да какие же такие дела?

— Ой-ой, ой!

И пошло, и пошло в двадцать голосов, одна и та же история, ничего не поймешь, и только вылетает из гомона колхозного:

— Ну и дела! Ну и дела!

И вот какие это вышли дела. Молодой русак, вылетев из леса, покатил по дороге к овинам, и вслед за ним вылетел и помчался врастяжку Трубач. Случалось, на чистом месте Трубач у нас догонял и старого зайца, а молодого-то догнать ему было очень легко. Русаки любят от гончих укрываться возле деревень, в ометах соломы, в овинах. И Трубач настиг русака возле овина. Косцы видели, как на повороте к овину Трубач раскрыл уже и пасть свою, чтобы схватить зайчика...

Трубачу бы только хватить, но вдруг на него из овина вылетает большая черная курица — и прямо в глаза ему. И он повертывается назад и бежит. А Пиковая Дама ему на спину — и клюет и клюет его своей пикой.

Ну и дела!

И вот отчего у желто-пегого в румянах на светлых пятнах была кровь: гонца расклевала обыкновенная курица.

ХРОМКА

Плыву на лодочке, а за мной по воде плывет Хромка — моя подсадная охотничья уточка. Эта уточка вышла из диких уток, а теперь она служит мне, человеку, и своим утиным криком подманивает в мой охотничий шалаш диких селезней.

Куда я ни поплыву, всюду за мной плывет Хромка. Займется чем-нибудь в заводи, скроюсь я за поворотом от нее, крикну: «Хромка!», и она бросит все и подлетает опять к моей лодочке. И опять куда я, туда и она.

Горе нам было с этой Хромкой! Когда вывелись утята, мы первое время держали их в кухне. Это пронюхала крыса, прогрызла дырку в углу и ворвалась. На утиный крик мы прибежали как раз в то время, когда крыса тащила утенка за лапку в свою дырку. Утенок застрял, крыса убежала, дырку забили, но только лапка у нашего утенка осталась сломанная.

Много трудов положили мы, чтобы вылечить лапку: связывали, бинтовали, примачивали, присыпали — ничего не помогло: утенок остался хромым навсегда.

Горе хромому в мире всяких зверушек и птиц: у них что-то вроде закона — больных не лечить, слабого не жалеть, а убивать. Свои же утки, куры, индюшки, гуси — все норовят тюкнуть Хромку. Особенно страшны были гуси. И что ему, кажется, великану, такая безделушка утенок, — нет, и гусь с высоты своей норовит обрушиться на каплюшку и сплюснуть, как паровой молот.

Какой умишко может быть у маленького хромого утенка? Но все-таки и он своей головенкой, величиной с лесной орех, сообразил, что единственное спасение его — в человеке. И нам по-человечески было жалко его: эти беспощадные птицы всех пород хотят лишить его жизни, а чем он виноват, если крыса вывернула ему лапку?

И мы по-человечески полюбили маленькую Хромку.

Мы взяли ее под защиту, и она стала ходить за нами, и только за нами. И когда выросла она большая, нам не нужно было ей, как другим уткам, подстригать крылья. Другие утки — дикари — считали дикую природу своей родиной и всегда стремились туда улететь.

Хромке некуда было улетать от нас. Дом человека стал ее домом. Так Хромка в люди вышла.

Вот почему теперь, когда я плыву на лодочке своей на утиную охоту, моя уточка сама плывет за мной. Отстанет, снимается с воды и подлетает. Займется рыбкой в заводи, заверну я за кусты, скроюсь и только крикну: «Хромка!», вижу — летит моя птица ко мне.

О ЧЕМ ШЕПЧУТСЯ РАКИ

Удивляюсь на раков — до чего много, кажется, напутано у них лишнего: сколько ног, какие усы, какие клешни и ходит хвостом наперед, и хвост называется шейкой. Но всего более дивило меня в детстве, что когда раков соберут в ведро, то они между собой начинают шептаться. Вот шепчутся, вот шепчутся, а о чем, не поймешь.

И когда скажут: «Раки перешептались», это значит — они умерли и вся их рачья жизнь в шепот ушла.

В нашей речке Вертушинке раньше, в мое время, раков было больше, чем рыбы. И вот однажды бабушка Домна Ивановна с внучкой своей Зиночкой собрались к нам на Вертушинку за раками. Бабушка с внучкой пришли к нам вечером, отдохнули немного и на реку. Там они расставили свои рачьи сеточки. Эти рачьи сачки у нас все делают сами: загибается ивовый прутик кружком, кружок обтягивается сеткой от старого невода, на сетку кладется кусочек мяса или чего-нибудь, а лучше всего кусочек жареной и духовитой для раков лягушки. Сеточки опускают на дно. Учуяв запах жареной лягушки, раки вылезают из береговых печур, ползут на сетки. Время от времени сачки за веревки вытаскивают кверху, снимают раков и опять опускают.

Простая эта штука. Всю ночь бабушка с внучкой вытаскивали раков, наловили целую большую корзину и утром собрались назад, за десять верст к себе в деревню. Солнышко взошло, бабушка с внучкой идут, распарились, разморились. Им уж теперь не до раков, только бы добраться домой.

— Не перешептались бы раки, — сказала бабушка.

Зиночка прислушалась.

Раки в корзинке шептались за спиной бабушки.

— О чем они шепчутся? — спросила Зиночка.

— Перед смертью, внученька, друг с другом прощаются.

А раки в это время совсем не шептались. Они только терлись друг о друга шершавыми костяными бочками, клешнями, усиками, шейками, и от этого людям казалось, будто от них шепот идет. Не умирать раки собирались, а жить хотели. Каждый рак все свои ножки пускал в дело, чтобы хоть где-нибудь найти дырочку, и дырочка нашлась в корзинке, как раз чтобы самому крупному раку пролезть. Один рак вылез крупный, за ним более мелкие шутя выбрались, и пошло, и пошло: из корзинки — на бабушкину кацавейку, с кацавейки — на юбку, с юбки — на дорожку, с дорожки — в траву, а из травы — рукой подать речка.

Солнце палит и палит. Бабушка с внучкой идут и идут, а раки ползут и ползут. Вот подходят Домна Ивановна с Зиночкой к деревне. Вдруг бабушка остановилась, слушает, что в корзинке у раков делается, и ничего не слышит. А что корзинка-то легкая стала, ей и невдомек: не спавши ночь, до того уходилась старуха, что и плеч не чует.

— Раки-то, внученька, — сказала бабушка, — должно быть, перешептались.

— Померли? — спросила девочка.

— Уснули, — ответила бабушка, — не шепчутся больше.

Пришли к избе, сняла бабушка корзинку, подняла тряпку:

— Батюшки родимые, да где же раки-то?

Зиночка заглянула — корзина пустая.

Поглядела бабушка на внучку — и только руками развела.

— Вот они, раки-то, — сказала она, — шептались! Я думала — они это друг с другом перед смертью, а они это с нами, дураками, прощались.

ВАЛЬДШНЕП

Весна движется, но медленно. В озерке, еще не совсем растаявшем, лягушки высунулись и урчат. Орех цветет, но еще не пылят желтой пыльцой его сережки.

Птичка на лету зацепит веточку, и не полетит от веточки желтый дымок.

Исчезают последние клочки снега в лесу. Листва из-под снега выходит плотно слежалая, серая.

Неподалеку от себя я разглядел птицу такого же цвета, как эта прошлогодняя листва, с большими черными выразительными глазами и носом длинным, не менее половины карандаша.

Мы сидели неподвижно; когда вальдшнеп уверился, что мы неживые, он встал на ноги, взмахнул своим карандашом и ударил им в горячую прелую листву.

Невозможно было увидеть, что он так достал себе из-под листвы, но только мы заметили, что от этого удара в землю сквозь листву у него на носу остался один круглый осиновый листик.

Потом прибавился еще и еще. Тогда мы спугнули его; он полетел вдоль опушки, совсем близко от нас, и мы успели сосчитать: на клювике у него было надето семь старых осиновых листиков.

ОТРАЖЕНИЕ

Мы идем с Ладой — моей охотничьей собакой — вдоль небольшого озерка. Вода сегодня такая тихая, что летящий кулик и его отражение в воде были совершенно одинаковы: казалось, летели нам навстречу два кулика. Весной в первую прогулку Ладе разрешается гоняться за птичками. Она заметила двух летящих куликов — летели прямо на нее, скрытую от них кустиком. Лада наметилась.

Какого она выберет себе: настоящего, летящего над водой, или его отражение в воде — оба ведь схожи между собой как две капли воды. Вот бедная Лада выбирает себе отражение и, наверное думая, что сейчас поймает живого кулика, с высокого берега делает скачок и бухается в воду.

А верхний, настоящий кулик улетает.

ЗОЛОТОЙ ЛУГ

У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ним постоянная забава. Бывало, идем куда-нибудь на свой промысел — он впереди, я в пяту.

«Сережа!» — позову я его деловито. Он оглянется, а я фукну ему одуванчиком прямо в лицо. За это он начинает меня подкарауливать и тоже, как зазеваешься, фукнет. И так мы эти неинтересные цветы срывали только для забавы. Но раз мне удалось сделать открытие.

Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: «Очень красиво! Луг золотой!» Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зеленый. Когда же я возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять позеленел. Тогда я пошел, отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как все равно, если бы у нас пальцы со стороны ладони были желтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы желтое. Утром, когда солнце взошло, я увидел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого луг становится опять золотым.

С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что спать одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали.

БОРЕЦ И ПЛАКСА

Почему-то вышло так в Московском зоопарке, что беременность медведицы Плаксы никто не заметил и оставили ее зимовать без всяких приготовлений для родов; даже соломки ей не подстелили. Проморгали граждане! Огромный бурый медведь Борец устроился жить в углублении стены, в нише, а самка его, Плакса, легла открыто напротив, у другой стены. Выбрав себе место повыше, хотя и под открытым небом, Плакса выгадала: зимой при первой же оттепели в нишу набежала вода. Борец там подплыл. Посреди медвежьей площадки росло большое дерево, обитое железом, чтобы медведи, когда им захочется почесаться, не портили кору. Борец теперь, при крайней своей беде, отодрал все железо, слупил кору и принялся ее таскать в мокрую берлогу. Драл он с дерева, сколько лишь мог только надрать, забрался на самую верхушку; свалился оттуда на бетонный пол, ушибся, долго тер ушибленное место ла-

пой, сердился, ворчал и, наконец, отнес последний материал в берлогу и лег на корье.

Вот наступили и самые роды. Служащие зоопарка, никак не ожидавшие такого события, поспешили сверху свалить Плаксе огромную вязанку соломы. Конечно, она очень обрадовалась подстилке и скоро на ней отлично устроилась. А Борец тоже почему-то не остался равнодушным — медленно направился к гнезду. Наблюдатели очень встревожились, опасаясь, что Борец хочет отнять у Плаксы и задавить медвежат. Плакса, конечно, сразу же обратила внимание на поведение супруга и допустила его дойти только до середины площадки. Внезапно она встала, быстро подошла к нему и дала ему такую затрещину по морде, что огромный медведь свалился и закрыл побитую голову лапами. Тогда медведица вернулась к медвежатам, легла, но глаз своих ни на мгновение не сводила с побитого мужа. Отдохнув немного, Борец не встал, а пополз на брюхе: подвинется на полшага, взглянет на нее, прочтет в глазах запрещение и опять ляжет, а потом опять жуликом подастся на полшага вперед, дальше, да так вот и подобрался к самой берлоге. Так он обманул бдительность Плаксы покорностью, готовностью от одного только ее косого взгляда ткнуться рылом и закрыть себе морду лапами. Она до того успокоилась, что, наконец, решилась обернуться к малышам и, не глядя на разбойника, принялась их облизывать. Вот тут-то, выждав благоприятный момент, Борец молниеносно вскочил, сгреб передними лапами солому и, высоко держа над собой копну, на одних задних лапах быстро промчал ее к себе в берлогу, постелил поверх сырого, неприятно колючего корья и успокоенно лег. Поди-ка, медведица, подойди теперь к нему! Куда тут!

Ободранное дерево и теперь стоит. Плакса на том же месте, где родила, теперь играет с молодым медведем. Очень часто кто-нибудь из публики спрашивает, зачем это медведям понадобилось ободрать это дерево. Тогда, бывает, кто-нибудь станет рассказывать о семейных повадках медведей и после рассказа выведет:

— Нечего сказать, отцы! Вот так отцы!

ЛЕСНОЙ ДОКТОР

Мы бродили весной в лесу и наблюдали жизнь дупляных птиц: дятлов, сов. Вдруг в той стороне, где у нас раньше было намечено интересное дерево, мы услышали звук пилы. То была, как нам говорили, заготовка дров из сухостойного леса для стеклянного завода. Мы побоялись за наше дерево, поспешили на звук пилы, но было уже поздно: наша осина лежала, и вокруг ее пня было множество еловых шишек. Это все дятел отшелушил за долгую зиму, собирал, носил на эту осинку, закладывал между двумя суками своей мастерской и долбил. Около пня, на срезанной нашей осине, два паренька отдыхали. Эти два паренька только и занимались тем, что пилили лес.

— Эх вы, проказники! — сказали мы и указали им на срезанную осину. — Вам велено резать сухостойные деревья, а вы что сделали?

— Дятел дырки наделал, — ответили ребята. — Мы поглядели и, конечно, спилили. Все равно пропадет.

Стали все вместе осматривать дерево. Оно было совсем свежее, и только на небольшом пространстве, не более метра в длину, внутри ствола прошел червяк. Дятел, очевидно, выслушал осину, как доктор: выстукал ее своим клювом, понял пустоту, оставляемую червем, и приступил к операции извлечения червя. И второй раз, и третий, и четвертый... Нетолстый ствол осины походил на свирель с клапанами. Семь дырок сделал «хирург» и только на восьмой захватил червяка, вытащил и спас осину.

Мы вырезали этот кусок, как замечательный экспонат для музея.

— Видите, — сказали мы ребятам, — дятел — это лесной доктор, он спас осину, и она бы жила и жила, а вы ее срезали.

Пареньки подивились.

КЛЮКВА

Егерь* Кирсан умел так рассказывать, что поначалу кажется, будто это у него все правда, и только под самый конец поймешь, правду он говорит или дурачит

* Егерь — это немецкое слово, значит «охотник».

нас. Так вот он стал рассказывать нам однажды, какая это кислая ягода клюква.

— Кто же этого не знает, Кирсан Николаевич? — сказал ему кто-то из нас.

— Я не про то, — ответил Кирсан. — Кто же, правда, не знает, что ягода клюква кислая? На то ведь она и есть клюква! А вот однажды мне пришла в голову мысль, и летом я жену попросил, чтобы она и на мою долю клюквы побольше собрала в болоте. Прошло лето, и осень прошла; лег снег. Негде стало кормиться тетеревам. Завалило ягоду в болоте снегом, занесло в поле зерно. Делать нечего, поднялись тетерева на березы и стали кормиться древесными почками. А после ягоды, после зерна какая же это пища — березовая почка? Вот я подумал об этом и поставил под березами шалашик. Когда тетерева пригляделись к шалашику и перестали на него обращать внимание, забрался я рано поутру в него и на снегу раскидал клюкву. Вот прилетели тетерева, расселись по березам, клюют горькие почки, а внизу, видят, клюква красная на белом снегу. Один петух слетел, осторожно подходит. Что делать? Ружье мое длинное — чуть шевельнешься, догадается и сам улетит, и все улетят. Скажите, что бы вы на моем месте сделали?

— Что сделали? — сказал один охотник. — Я бы дал первому поклевать...

Другой охотник еще что-то сказал, третий еще, заспорили. А Кирсан все сидел и молча улыбался.

— Ну, скажи, Кирсан Николаевич, — обратились мы, наконец, к самому хозяину, — расскажи, как же ты поступил?

— Я поступил просто, — ответил Кирсан. — Когда петух взял клюквину в рот, стало ему после березовых почек очень кисло; он от кислого зажмурился, и тут я в него из ружья.

Смеялись мы, но другой егерь, Камолов, сказал:

— На этот раз у тебя сорвалось, Кирсан Николаевич, не сумел ты соврать. Это сказка есть о трех зайцах, что охотник им клюквы дал, они зажмурились, и он их связал, без ружья обошелся. А ты с ружьем — эка невидаль!

ВЫСКОЧКА

Наша охотничья собака, лайка, приехала к нам с берегов Бии, и в честь этой сибирской реки так и назвали мы ее Бией. Но скоро эта Бия почему-то у нас превратилась в Бьюшку, Бьюшку все стали звать Вьюшкой. Мы с ней мало охотились, но она прекрасно служила у нас сторожем при машине. Уйдешь на охоту — и будь уверен: Вьюшка не пустит в машину врага.

Раз было пришли мы с охоты, стали разводить машину, а Вьюшку пустили погулять. Веселая собачка эта Вьюшка, всем нравится: ушки — как рожки, хвостик колечком, зубки беленькие, как чеснок. Достались ей от обеда две косточки. Получая подарок, Вьюшка развернула колечко своего хвоста и опустила его вниз поленом. Это у нее означало тревогу и начало бдительности, необходимой для защиты, — известно, что в природе на кости есть много охотников. С опущенным хвостом Вьюшка вышла на траву-мураву и занялась одной косточкой, другую же положила рядом с собой.

Тогда откуда ни возьмись сороки — скок-скок — и к самому носу собаки. Когда же Вьюшка повернула голову к одной, — хвать! — другая сорока с другой стороны — хвать! — и унесла косточку.

Дело было поздней осенью, и сороки вывода этого лета были совсем взрослые. Держались они тут всем выводком, в семь штук, и от своих родителей постигли все тайны воровства. Очень быстро они оклевали украденную косточку и, недолго думая, собрались отнять у собаки вторую.

Говорят, что в семье не без урода, то же оказалось и в сорочьей семье. Из семи сорок одна вышла не то чтобы совсем глупенькая, а как-то с заскоком и с пыльцой в голове. Вот сейчас то же было: все шесть сорок повели правильное наступление, большим полукругом, поглядывая друг на друга, и только одна Выскочка поскакала дуром.

— Тра-та-та-та-та! — застрекотали все сороки.

Это у них значило:

— Скачи назад, скачи, как надо, как всему сорочьему обществу надо!

— Тра-ля-ля-ля-ля! — ответила Выскочка.

Это у нее значило:

— Скачите, как надо, а я — как мне самой хочется.

Так за свой страх и риск Выскочка поскакала к самой Вьюшке в том расчете, что Вьюшка, глупая, бросится на нее, выбросит кость, она же изловчится и кость унесет.

Вьюшка, однако, замысел Выскочки хорошо поняла и не только не бросилась на нее, но, заметив Выскочку косым глазом, освободила кость и поглядела в противоположную сторону, где правильным полукругом, как бы нехотя — скок! и подумают, — наступали шесть умных сорок.

Вот это мгновение, когда Вьюшка отвернула голову, Выскочка улучила для своего нападения. Она схватила кость и даже успела повернуться в другую сторону, успела ударить по земле крыльями, поднять пыль из-под травы-муравы. И только бы еще одно мгновение, чтобы подняться на воздух, только бы одно мгновеньишко! Вот только-только подняться бы сороке, как Вьюшка схватила ее за хвост — и кость выпала...

Выскочка вырвалась, но весь радужный длинный сорочий хвост остался у Вьюшки в зубах и торчал из пасти ее длинным острым кинжалом.

Видел ли кто-нибудь сороку без хвоста? Трудно даже вообразить, во что превращается эта блестящая, пестрая и проворная воровка яиц, если ей оборвать хвост... Ничего сорочьего не остается тогда в этой птице, и ни за что в ней не узнаешь не только сороку, а и какую-нибудь птицу: это просто шарик пестрый с головкой.

Бесхвостая Выскочка села на ближайшее дерево, все другие шесть сорок прилетели к ней. И было видно по всему сорочьему стрекотанию, по всей суете, что нет в сорочьем быту большего сраму, как лишиться сороке хвоста.

ИЗ ДНЕВНИКОВ РАЗНЫХ ЛЕТ

Как хорошо в предрассветный час полуодетому прямо с постели открыть дверь, выйти во тьму, захватить пригоршню пушистого, только что вылетевшего из облаков снега, потереть им лицо, шею и вернуться в теп-

лый дом: какой у снега в этот утренний час бывает аромат!

Да, если дома тепло, и можно быть сытым, и есть хорошая лампа, то зима куда интереснее лета.

* * *

Кончается чудесный сухой сентябрь, дни мои отрываются от меня, как с дерева листики, и улетают.

Я слегка опускаю поводья, и моя лошаденка сама трусит, освобождая меня от забот.

* * *

Синяя тишина. Вчера десять и больше раз начинался дождь, и я уже не обращал на него внимания и ходил с Кадо по дождю.

В промежутках между дождями было так тихо и темно, что каждое дерево как будто оставалось наедине само с собой, и все можно было видеть у них, даже самое тайное.

Плакучие березы опустили вниз все свои зеленые косы, а в елках нависла синяя тишина.

* * *

В жаркий парной день войдешь в хвойный лес, как под крышу великого дома, и бродишь, бродишь глазами внизу. Со стороны посмотрит кто-нибудь и подумает: он что-то ищет. Что? Если грибы, то весенние грибы — сморчки — уже прошли. Ландыши? Еще не готовы.

— Не потерял ли ты что-нибудь?

— Да, — отвечаю, — я мысль свою в себе потерял и теперь вот чувствую — сейчас найду, вот тут, в заячьей капусте.

* * *

На сеновале близко над нашими головами гнездо с ласточками — четыре птенца. Я давно желал увидеть, как вылетают ласточки, потому что это сущее диво: когда гнездо бывает прилеплено к окошку на пятом этаже, а внизу каменная мостовая — вот паденье!

Сегодня, проснувшись, я услышал щебет молодой ласточки не только в гнезде, но и еще где-то; я увидел птенца на сене, взял его в руки, пустил в ворота, и он полетел себе, и старики ласточки окружили его, отец, мать и другая родня собрались, и молодой степенно летал между стариками. Потом бросился другой из гнезда, третий, четвертого мы вытолкнули сами.

Так ласточка учится летать в момент паденья. Но так же ведь и у всех нас, людей, ползающих, бегающих, летающих, — у всех, кто рискнул летать, — пришло это им тоже в момент паденья.

* * *

Друг человека. Обезьяна не тем нам дурна, что некрасива, а что судит о нас по себе, и все, что нам дорого, отличающее человека от животного, принимает за свои обезьяньи естественные потребности.

Напротив, собака видит в нас высшее существо и старается заслужить нашу любовь и уважение.

Бывает, собака-щенок, играя с бумажкой, привязанной на ниточку, вдруг что-то заметит, может быть, даже разгадает секрет игры и глазами, как будто освещенными настоящим светом разума, заглянет в глаза самому человеку.

Если собака поглядела на меня человеческим взглядом, то значит, был же человек на свете, передавший собаке этот свой человеческий глаз?

Я понимаю, если собака моя ложится на пол и прижимается непременно к моей ноге, это для того, чтобы во время ее сна я не ушел. Понимаю ее, как собаку. Но если ночью, когда идти некуда, она проснулась, ей стало не по себе почему-то, и она, взяв зубами своими свой тюфячок, подтащила к моей кровати на другой стороне комнаты, и уснула, и была довольна, что спала не с печкой, а рядом с человеком, — это у нее человеческое чувство одиночества и жажда близости, и это от человека у нее.

* * *

Я иногда думаю предложить эту догадку, что природа вся со всеми своими обитателями значит (знает) гораздо больше, чем мы думаем, но они не только не

могут записать за собой, но даже лишены возможности вымолвить слово.

— Лада, милая собачка, что ты скажешь? Ну, собирайся, друг, шепни одно только человеческое слово — и мы с тобой победим весь мир зла!

Так я не раз говорю своей Ладе, когда она положит мне голову на плечо и страстным хрипом пытается высказать свою признательность и любовь.

* * *

В лесу много пней и есть какой-нибудь, где я когда-то сидел и писал. Жулька, забежав вперед меня, сядет около него и ждет. А когда я покажусь из кустов, напряженно глядит на меня, и я понимаю ее вопрос: «Дальше пойдем или будем писать?». В этот раз мне захотелось пописать.

— Будем писать, — сказал я.

И сел. А Жулька села, тесно прижавшись к моей коленке. Это она делает всегда, неизменно, и у меня есть два объяснения: одно — что так лучше ей будет дать знать, когда покажется враг, и второе — что так в тесноте ей отчасти можно будет участвовать в творчестве.

* * *

Мечта Жульки. Жулька сначала идет по следу, а когда потеряет, ведет по мечте. И все поле переходит в мечте.

Метель в поле страшная, наст, однако, в лесу от собаки не проваливается. Сквозь метель Жулька увидела летящую птичку и со всех ног во все тяжкие бросилась за ней по насту. Она догнала, схватила, но это не птичка, а старый сухой дубовый лист. Но ничего! Вот другой летит, и собака уже не бежит за ним.

Так и мы тоже за мечтой своей, как за птичкой, а потом научаемся мечтой своей управлять и свою птичку не смешивать с каким-нибудь сухим листиком.

* * *

Как зеленое пламя, вспыхнула береза в еловом темном лесу, и ветерок уже заиграл всеми ее листиками и будет играть всю весну, все лето и осень, пока все не

сорвет и не останется береза опять одна со своими голыми прутиками.

— Ты знаешь, Жулька, — сказал я своей умнице собаке, — эта березка, может быть, так же когда-нибудь, как мы с тобой, бегала, но ей понравился ветер, и что он играет ее листиками. Вот она остановилась и отдалась ветру, и с тех пор она стоит так, и он ею играет.

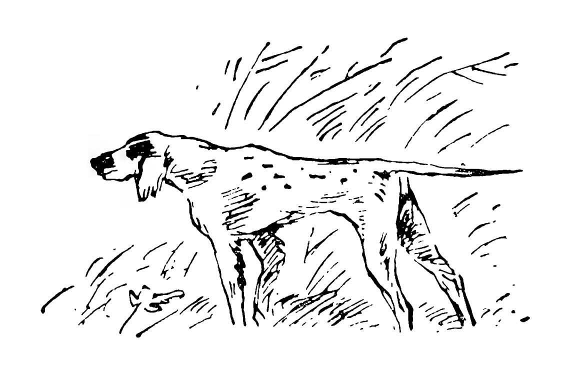
* * *

Кадо. Последний рассказ будет не о Жульке, а о моем большом гладкошерстном пойнтере Кадо. Это очень добрый, ленивый и толстый пес и если не охотится, то спит где-нибудь на полу в солнечном пятне.

Этим летом спать Кадо мешали комары, — у Кадо такая короткая шерсть, что от укусов не защищает. То и дело слышим: огромный Кадо лязгает зубами на комаров. Мало пришлось поспать этим летом Кадо!

Но вот деньки стали короче, лето пошло на убыль, комары исчезли.

Кадо вышел на крыльцо, огляделся, его широкая рыжая морда выражала полное довольство, и по ней мы прочли: «Кажется, больше не будут кусаться: за лето я всю эту дрянь начисто переловил».



ЯРИК

Однажды я лишился своей легавой собаки и охотился по бродкам, значит, росистым утром находил следы птиц на траве и по ним добирал, как собака, и не могу наверно сказать, но мне кажется, я немного и чуял.

В то время верст за тридцать от нас ветеринарному фельдшеру удалось повязать свою замечательную ирландскую суку с кобелем той же породы, та и другая собаки были из одного бывшего помещичьего имения. И вот однажды, в тот самый момент, когда жить стало особенно трудно, один мой приятель доставил мне шестинедельного щенка-ирландца. Я не отказался от подарка и выходил себе друга. Натаска без ружья мне доставляет иногда наслаждение не меньшее, чем настоящая охота с ружьем. Помню, раз было... На вырубке вокруг старых черных пней было множество высоких, елочкой, красных цветов, и от них вся вырубка казалась красной, хотя гораздо больше тут было иван-да-марьи, цветов наполовину синих, наполовину желтых, во множестве тут были тоже и белые ромашки с желтой пуговкой в сердце, звонцы, синие колокольчики, лиловое кукушкино платье — каких, каких цветов не было, но от красных елочек, казалось, вся вырубка была красная. А возле черных пней еще можно было найти переспелую и очень сладкую землянику. Летним временем дождик

совсем не мешает, я пересидел его под елкой, сюда же в сухое место собрались от дождя комары, и, как ни дымил я на них из своей трубки — собаку мою, Ярика, они очень мучили. Пришлось развести грудок, как у нас называют костер, дым от еловых шишек повалил очень густой, и скоро мы выжили комаров и выгнали их на дождик. Но не успели мы с комарами расправиться, дождик перестал. Летний дождик — одно только удовольствие.

Пришлось все-таки под елкой просидеть еще с полчаса и дождаться, пока птицы выйдут кормиться и дадут по росе свежие следы.

Когда по расчету это время прошло, мы вышли на красную вырубку, и, сказав:

— Ищи, друг! — я пустил своего Ярика.

Ярику теперь пошло третье поле. Он проходит под моим руководством высший курс ирландского сеттера, третье поле — конец ученью, и, если все будет благополучно, в конце этого лета у меня будет лучшая в мире охотничья собака, выученный мной ирландский сеттер, неутомимый и с чутьем на громадное расстояние.

Часто я с завистью смотрю на нос своего Ярика и думаю: «Вот, если бы мне такой аппарат, вот побежал бы я на ветерок по цветущей красной вырубке и ловил бы интересные мне запахи».

Но не чуткие мы и лишены громадного удовольствия. Мы постоянно спрашиваем: «Как ваше зрение, хорошо ли вы слышите?», но никто из нас не спросит: «Как вы чуете, как у вас дела с носом?»

Много лет я учу охотничьих собак. Всегда, если собака причует дичь и поведет, испытываю большое радостное волнение и часто думаю: «Что же это было бы, если бы не Ярик, а я сам чуял дичь?»

— Ну, ищи, гражданин! — повторил я своему другу.

И он пустился кругами по красной вырубке.

Скоро на опушке Ярик остановился под деревьями, крепко обнюхал место, искоса, очень серьезно посмотрев на меня, пригласил следовать: мы понимаем друг друга без слов. Он повел меня за собой очень медленно, сам же уменьшился на ногах и очень стал похож на лисицу.

Так мы пришли к густой заросли, в которую пролезть мог только Ярик, но одного его пустить туда я бы

не решился: один он мог увлечься птицами, кинуться на них, мокрых от дождя, и погубить все мои труды по обучению. С сожалением хотел было я его отозвать, но вдруг он вильнул своим великолепным, похожим на крыло, хвостом, взглянул на меня; я понял, он говорил:

— Они тут ночевали, а кормились на поляне с красными цветами.

— Как же быть? — спросил я.

Он понюхал цветы: следов не было. И все стало понятно: дождик смыл все следы, а те, по которым мы шли, сохранились, потому что были под деревьями.

Оставалось сделать новый круг по вырубке до встречи с новыми следами после дождя. Но Ярик и полукруга не сделал, остановился возле небольшого, но очень густого куста.

Запах тетеревов пахнул ему на всем ходу, и потому он стал в очень странной позе, весь кольцом изогнулся и, если бы хотел, мог бы во все удовольствие любоваться своим великолепным хвостом. Я поспешил к нему, огладил и шепотом сказал:

— Иди, если можно!

Он распрямился, попробовал шагнуть вперед, и это оказалось возможно только очень тихо. Так, обойдя весь куст кругом, он дал мне понять:

— Они тут были во время дождя.

И уже по самому свежему следу, по роске, по видимому глазом зеленому бродку на седой от капель дождя траве повел, касаясь своим длинным пером на хвосте самой земли.

Вероятно, они услышали нас и тоже пошли вперед, я это понял по Ярику, он мне по-своему доложил:

— Идут впереди нас и очень близко.

Они все вошли в большой куст можжевельника, и тут Ярик сделал свою последнюю мёртвую стойку. До сих пор ему еще можно было время от времени раскрывать рот и хахать, выпуская свой длинный розовый язык, теперь же челюсти были крепко стиснуты и только маленький кончик языка, не успевший вовремя вобраться в рот, торчал из-под губы, как розовый лепесток. Комар сел на розовый кончик, впился, стал наливаться, и видно было, как темно-коричневая, словно клеенчатая, тюпка на носу Ярика волновалась от боли и танцевала от запаха, но убрать язык было невозмож-

но: если открыть рот, то оттуда может сильно хахнуть и птиц испугать.

Но я не так волновался, как Ярик, осторожно подошел, ловким щелчком скинул комара и полюбовался на Ярика сбоку: как изваянный стоял он с вытянутым в линию спины хвостом-крылом, а зато в глазах собралась в двух точках вся жизнь.

Тихонько я обошел куст и стал против Ярика, чтобы птицы не улетели за куст невидимо, а поднялись вверх.

Мы так довольно долго стояли, и, конечно, они в кусту хорошо знали, что мы стоим с двух сторон. Я сделал шаг к кусту и услышал голос тетеревиной матки, она квохнула и этим сказала детям:

— Лечу, посмотрю, а вы пока посидите.

И со страшным треском вылетела.

Если бы на меня она полетела, то Ярик бы не тронулся, и, если бы даже просто полетела над ним, он не забыл бы, что главная добыча сидит в кусту и какое это страшное преступление бежать за взлетевшей птицей. Но большая серая, почти в курицу, птица вдруг кувыркнулась в воздухе, подлетела почти к самомуЯрикову носу и над самой землей тихонько полетела, маня его криком:

— Догоняй же, я летать не умею!

И, как убитая, в десяти шагах упала на траву и по ней побежала, шевеля высокие красные цветы.

Этого Ярик не выдержал и, забыв годы моей науки, ринулся...

Фокус удался, она отманила зверя от выводка и, крикнув в кусты детям:

— Летите, летите все в разные стороны, — сама вдруг взмыла над лесом и была такова.

Молодые тетерева разлетелись в разные стороны, и как будто слышалось издали Ярику:

— Дурак, дурак!

— Назад! — крикнул я своему одураченному другу.

Он опомнился и, виноватый, медленно стал подходить.

Особенным, жалким голосом я спрашиваю:

— Что ты сделал?

Он лег.

— Ну, иди же, иди!

Ползет виноватый, кладет мне на коленку голову, очень просит простить.

— Ладно,— говорю я, усаживаясь в куст,— лезь за мной, смирно сиди, не хахай: мы сейчас с тобой одурачим всю эту публику.

Минут через десять я тихонько свищу, как тетеревята: «Фиу, фиу!» Значит: «Где ты, мама?»

— Квох, квох,— отвечает она, и это значит: — Иду!

Тогда с разных сторон засвистело, как я:

— Где ты, мама?

— Иду, иду,— всем отвечает она.

Один цыпленок свистит очень близко от меня, я ему отвечаю, он бежит, и вот я вижу: у меня возле самой коленки шевелится трава.

Посмотрев Ярику в глаза, погрозив ему кулаком, я быстро накрываю ладонью шевелящееся место и вытаскиваю серого, величиною с голубя, цыпленка.

— Ну, понюхай,— тихонько говорю Ярику.

Он отвертывает нос: боится хамкнуть.

— Нет, брат, нет,— жалким голосом прошу я,— понюхай-ка!

Нюхает, а сам, как паровоз.

Самое сильное наказание.

Вот теперь я уже смело свищу и знаю, непременно прибежит ко мне матка: всех соберет, одного не хватит — и прибежит за последним.

Их всех, кроме моего, семь; слышу, как один за другим, отыскав мать, смолкают, и, когда все семь смолкли, я, восьмой, спрашиваю:

— Где ты, мама?

— Иди к нам,— отвечает она.

— Фиу, фиу: нет, ты веди всех ко мне.

Идет, бежит, вижу, как из травы то тут, то там, как горлышко бутылки, высунется ее шея, а за ней везде шевелит траву и весь ее выводок.

Все они сидят от меня в двух шагах, теперь я говорю Ярику глазами: «Ну, не будь дураком!»

И пускаю своего тетеревёнка.

Он хлопает крыльями о куст, и все хлопают, все вздымаются. А мы из куста с Яриком смотрим вслед улетающим, смеемся:

— Вот как мы вас одурачили, граждане!

ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ КОЛБАСА

Ярик очень подружился с молодым Рябчиком и целый день с ним играл. Так, в игре, он провел неделю, а потом я переехал с ним из города в пустынный домик в лесу, в шести верстах от Рябчика. Не успел я устроиться и как следует осмотреться на новом месте, как вдруг у меня пропадает Ярик. Весь день я искал его, всю ночь не спал, каждый час выходил на терраску и свистал. Утром, только собрался было идти в город, в милицию, являются мои дети с Яриком: он, оказывается, был в гостях у Рябчика. Я ничего не имею против дружбы собак, но нельзя же допускать, чтобы Ярик без разрешения оставлял службу у меня!

— Так не годится, — сказал я строгим голосом. — Это, брат, не служба. А кроме того, ты ушел без намордника — значит, каждый встречный имеет право тебя застрелить. Безобразный ты пес!

Я все высказал суровым голосом, и он выслушал меня, лежа на траве, виноватый, смущенный, не Ярик — золотистый гордый ирландец, а какая-то рыжая, ничтожная, сплющенная черепаха.

— Не будешь больше ходить к Рябчику? — спросил я более добрым голосом.

Он прыгнул ко мне на грудь. Это у него значило:

— Никогда не буду, добрый хозяин.

— Перестань лапиться! — сказал я строго.

И простил. Он покатался в траве, встряхнулся и стал обыкновенным, хорошим Яриком.

Мы жили в дружбе недолго, всего только неделю, а потом он снова куда-то исчез. Вскоре дети, зная, как я тревожусь о нем, привели беглеца: он опять сделал Рябчику незаконный визит. В этот раз я не стал с ним разговаривать и отправил в темный подвал, а детей просил, чтобы в следующий раз они только известили меня, но не приводили и не давали там ему пищи. Мне хотелось сделать, чтобы он вернулся по доброй воле.

В темном подвале путешественник пробыл у меня сутки. Потом, как обыкновенно, я серьезно поговорил с ним и простил. Наказание подвалом подействовало только на две недели. Дети прибежали ко мне из города:

— Ярик у нас!

— Так ничего же ему не давайте, — велел я. — Пусть проголодается и придет сам, а я подготовлю ему хорошую встречу.

Прошел день. Наступила ночь. Я зажег лампу, сел на диван, стал читать книгу. Налетело на огонь множество бабочек, жуков, все это стало кружиться возле лампы, валиться на книгу, на шею, путаться и жужжать в волосах. Но закрыть дверь на террасу было нельзя, потому что это был единственный вход, через который мог явиться ожидаемый Ярик. Я, впрочем, не обращал внимания на бабочек и жуков: книга была увлекательной, и шелковый ветерок, долетая из леса, приятно шумел. Я и читал и слушал музыку леса.

Вдруг мне что-то показалось в уголку глаза. Я быстро поднял голову, и это исчезло. Теперь я стал прилаживаться так читать, чтобы, не поднимая головы, можно было наблюдать порог. Вскоре там показалось нечто рыжее, стало красться в обход стола, и я думаю, мышь слышней пробежала бы, чем это большое подползало под диван. Только знакомое неровное дыхание подсказало мне, что Ярик был под диваном и лежал как раз подо мной. Некоторое время я читаю и жду, но терпения у меня хватило ненадолго. Встаю, выхожу на террасу и начинаю звать Ярика строгим голосом и ласковым, громко и тихо, свистать и даже трубить. Так уверил я лежащего под диваном, что ничего не знаю о его возвращении. Потом я закрыл дверь от бабочек и говорю вслух:

— Верно, Ярик уже не придет. Пора ужинать.

Слово «ужинать» Ярик знает отлично. Но мне показалось, что после моих слов под диваном прекратилось даже дыхание.

В моем охотничьем столе лежит запас копченой колбасы, которая чем больше сохнет, тем становится вкуснее. Я очень люблю сухую охотничью колбасу и всегда ем ее вместе с Яриком. Бывало, мне довольно только ящиком шевельнуть, чтобы Ярик, спящий колечком, развернулся, как стальная пружина, и подбежал к столу, сверкая огненным взглядом.

Я выдвинул ящик — из-под дивана ни звука. Раздвигаю колени, смотрю вниз — нет ли там на полу рыжего носа. Нет, носа не видно. Режу кусочек, громко жую, заглядываю — нет, хвост не молотит. Начинаю

опасаться, не показалась ли мне рыжая тень от сильного ожидания и Ярика вовсе и нет под диваном. Трудно думать, чтобы он, виноватый, не соблазнился даже колбасой — ведь он так любит ее. Если я, бывало, возьму кусочек, надрежу, задеру шкурку, чтобы можно было за кончик ее держаться пальцами и кусочек ее висел бы, как на нитке, то Ярик задерет нос вверх, стережет долго и вдруг прыгнет. Но мало того: если я успею во время прыжка отдернуть вверх руку с колбасой, то Ярик так и остается на задних ногах, как человек. Я иду с колбасой, а Ярик идет за мной на двух ногах, опустив передние лапы, как руки, и так мы обходим комнату и раз, и два, и даже больше. Я надеюсь в будущем посредством колбасы вообще приучить ходить его по-человечески и когда-нибудь во время городского гулянья появиться так под руку с рыжим хвостатым товарищем.

И так вот, зная, как Ярик любит колбасу, я не могу допустить, чтобы он был под диваном. Делаю последний опыт, бросаю вниз не кусочек, а только шкурку и наблюдаю. Но как внимательно я ни смотрю, ничего не могу заметить: шкурка исчезла как будто сама по себе. В другой раз я все-таки добился: видел, как мелькнул язычок.

Ярик тут, под диваном.

Теперь я отрезаю от колбасы круглый конец с носиком, привязываю нитку за носик и тихонечко спускаю вниз между коленками. Язык показался. Я потянул за нитку — язык скрылся. Переждав немного, спускаю опять — теперь показался нос, потом лапы.

Больше нечего в прятки играть: я вижу его, и он меня видит.

Поднимаю выше кусочек, Ярик поднимается на задние лапы.

— Пожалуйте, молодой человек!

ВЕРНЫЙ

Мне удалось Ярика очень хорошо натаскать на болоте, но, страстный любитель лесной охоты, я не удержался от искушения: когда пришла пора, я стал охотиться с ним в лесу на тетеревов. В этом была моя

ошибка: надо было потерпеть до другого поля. Однако в первые дни Ярик работал в лесу прекрасно, как и на болоте, только приходилось почаще свистеть. Но как-то под вечер, когда я возвращался с охоты, на дорогу выбежала тетеревиная матка очень позднего выводка и стала своими обычными приемами дразнить Ярика. Он бросился, по пути попал на тетеревят, ошалел и долго за ними носился. Сгоряча я так его вздул, что он вдруг вскочил и бежать от меня, я за ним, он дальше, дальше и пропал на всю ночь, а утром мы увидели его рыжие уши в картофельной борозде...

Кому приходилось натаскивать собак, тот поймет всю силу моего отчаяния: теперь исправить собаку можно было только с большим трудом, а об охоте в этом году и думать нечего. Выход был один — найти себе для охоты другую собаку, а Ярика учить снова, чтобы этот случай у него постепенно забылся.

Я стал себе приискивать собаку какую-нибудь, хотя бы даже вроде покойницы Флейты, лишь бы мало-мальски из-под нее можно было стрелять.

И так, расспрашивая всех о собаке, я рассылал своих ребятишек узнавать, проверять слухи. Однажды они рассказали мне, что будто бы, когда они проходили мимо одного хутора с большой пасекой и сели тут отдохнуть, из дома вышел старик с колуном и принялся за дрова. Наколов порядочно дров, этот старичок свистнул, прибежала собака черная с рыжими подпалинами, лохматая и, видно, очень породистая. Подбежав к старику, собака схватила полено в зубы и понесла в дом, потом вернулась, взяла другое и так, пока старичок отдыхал, перетаскала всю поленницу. Потом старик закрыл дом, отворил сарай, стал опять колоть, а собака носила поленья в сарай. И так дети, поспешая домой, ушли, не досмотрев работы, только по количеству наколотых дров можно было понять, что старик этим занимался изо дня в день, заготовляя дрова на зиму, может быть, и для продажи, а собака ему помогала.

— Верно ли, что собака черная с рыжими подпалинами и шерсть очень густая? — спросил я.

— Ну, как же, — ответили дети, — а лоб у него покруче нашего Ярика и переносица как бы с выломом, и такой лохматый, что, в общем, похож на первобытного человека.

На другой день я пошел искать свое счастье на хутор.

Я застал точно такую картину, как рассказывали дети: старик колол дрова, а прекрасный гордон относил их в сарай. Один раз собака устала, не донесла полено до сарая, бросила и вернулась. Старик взял прут. Гордон, увидев прут, подбежал к старику, лег на бок у самых ног. Старик ударил сильно раз, два и бросил прут. Гордон вскочил, схватил этот прут, весело поскакал с ним возле хозяина, бросился к уроненному полену, донес его до сарая и бодро стал продолжать работу.

Редкостная голова была у гордона, пышность убранства ее можно было только сравнить с париками Людовика XIV, только зад был как бы деревянный, то ли от перенесенных побоев, то ли от чумы. После стороной я узнал, сколько побоев вынес гордон на лесной службе у крестьянина: очень возможно, что пострадал от побоев.

— Что же вы, — говорю крестьянину, — охотничью собаку и заставляете нести такую службу?

— Какую там охотничью, — пробормотал старик, — вот никак не могу научить складывать, накидать-то накидает, а нет того, чтобы сложить.

Наш разговор услышал сын старика, вышел познакомиться. Поставили самовар. Сели за чай. Я рассказывал им о беде с Яриком и что я не прочь бы купить Верного, если бы у него оказалось хоть мало-мальски чутье. Мне же они рассказывали, что собаку в голодное время купили больше из жалости к Бендрышеву, и тот собаку хвалил. Я хорошо знал Бендрышева, это был у нас первый охотник, стрелок и дрессировщик. У меня мелькнула надежда, что, может быть, эти мужички просто не понимают, как надо обращаться с охотничьей собакой, и зря мучат ее на дровяной работе и что ее надо купить сразу на счастье, пока простецы не расчухали. Я приценился, спросили двадцать рублей, совсем пустяки. Но у крестьян никак нельзя показывать виду, что дешево, я стал торговаться. Пил чай с медом, очень потел и торговался, хотя готов был и не двадцать, а даже тридцать и больше отдать. Хозяева тоже усердно пили чай, потели, и торговались, и, такие чудаки, хвалили не собаку, а Бендрышева, повторяя, что Бендрышев охоту знает, как поп Егор «Отче наш». В конце

концов я выторговал себе целых пятнадцать фунтов меду и с собакой и с медом, получив еще сверх всего свисток, побежал скорее домой.

Я двое суток ласкал Верного и не водил на охоту, и он так скоро привязался ко мне, что, если только я переходил в другую комнату, принимался выть и скулить. Это было добрейшее, переполненное сиротскими чувствами существо. На третий день я совершенно уверился, что Верный никуда от меня не уйдет, взял с собой ребят и пошел на охоту.

Для болота мне хорош был Ярик. Верного мы повели на веревочке в лес. Там на поляне, вблизи которой можно было ожидать тетеревиных выводков, я отпустил Верного. Он сначала ринулся в кусты, но, словно что-то забыв, вернулся и стал против нас на поляне, смотрел долго и, лохматый, то покосит голову на один бок, то на другой, и так все было похоже, будто он нас фотографирует. Сделав это, очевидно, ему очень нужное, он исчез, показался, опять исчез, и все пошло как с отлично дрессированной собакой коротким лесным поиском. Очень скоро там, где большая посеча переходит в болото, разделенная с ним густой зарослью, Верный прихватил и очень осторожно повел. В нем не было той страсти, как у Ярика, и того огненного глаза, отчего сам в себе вдруг узнаешь какую-то внутреннюю собаку и совершенно забываешься, как человек. Верный вел крайне осторожно, как бы не для себя это делал, а только для нас. Слишком долго он вел, очевидно, птицы удирали, и это, наконец, он понял, остановился, посмотрел туда-сюда, не торопясь сделал круг и так отрезал отступление птиц у самой крепи в отдельно стоящем кусту. После того он стал хозяйственно, без всякого волнения: пришил. Мы расставились в линию, я посередине, ребята по бокам. И так мы стояли, пока я наконец решился сказать: «Вперед...» Верный сделал шаг, другой, и один вылетел, — выстрел, другой, — еще выстрел. Мы их стреляли над крепью все трое, и они падали в топь, заросшую тростниками в рост человека и выше. Отстояв выстрелы, Верный спросился глазами и сам пошел в топь выносить одного, другого, третьего...

Дичи было много в этом краю. В несколько дней мы настреляли почти что на стоимость новой собаки, и вот

как бывает, забудешься в своем счастье: я написал бывшим хозяевам Верного, что очень доволен, и не знаю, как их благодарить, и соглашаюсь вполне, что Бендрышев действительно знает охоту, как поп Егор «Отче наш». После я узнал стороной, что вот как я огорчил их этим письмом, они думали, что собака никуда не годится и Бендрышев их обманул.

В первые же дни появления Верного на моем дворе характер Ярика очень переменился. По гордости своей он решил не показывать виду, что ему неприятно общество Верного. Даже когда я беру ружье и Верный скачет вокруг меня, Ярик лежит жерновком и вида не показывает, что ему хочется на охоту. А между тем сам очень страдает, и стоит только мне позвать его, как бросается со всех ног и оттирает Верного. Раньше он был большой неряха, и когда ему дашь кость, то хорошенько ее выгрызет, а что потверже, похуже, бросит. Теперь из опасения, что остаток достанется Верному, лежит возле пищи и, если Верный близко подходит, рычит. Позовешь к себе, идет с костью в зубах, нужно выйти до ветру — все с костью идет и делает. С тревогой наблюдал я, как изо дня в день Ярик искал повода сцепиться с Верным, и я очень боялся этого, потому что по старому опыту знал характер таких сиротливых и добрых собак, как Верный: терпит, терпит, зато уж как возьмется, так доведет войну до конца.

Однажды у нас на дворе полоскали белье и оставили корыто с подсинькой. Ярик глодал кость возле самого корыта, и когда оказалось, что одну пластинку ему не разгрызть, подсунул ее под корыто, чтобы Верный не заметил. В это время я крикнул Верного на охоту. Ярика это, конечно, больно укололо, но вида он не подал и затаил злобу на Верного. И уж само собой, такой умница и хитрец, Ярик отлично знал, что, когда зовут на охоту, тут не до кости. Между тем Верный побежал именно по тому самому месту, где была запрятана кость, и Ярику был отличный повод, не обнаруживая ревности, броситься на Верного будто бы из-за кости. Он сделал это с такой силой и ловкостью, что Верный, вообще плохо владеющий своим деревянным задом, грохнулся спиной в корыто с подсинькой, ногами вверх, будто опрокинулась деревянная лошадка. Я понял так Верного, что ему, претерпевшему испытание

дровами и страшные побои поленьями, вовсе не так уж зазорно было полежать секунду в подсиньке вверх ногами или показаться хозяину мокрым, и боли он тоже не чувствовал, но ведь он же совсем не был виноват, он не за костью бежал: из-за чего же этот рыжий барин бросился, и не пора ли, наконец, с этим покончить, и раз навсегда. И вот он, выскочив из корыта, во много раз сильнейший, бросился на Ярика.

Обыкновенно, когда силы очень неравны, слабейший при бурном натиске ложится на землю и перевертывается ногами вверх, сильнейший тогда наседает, но не грызет, а только рычит и, подержав порядочное время побежденного в таком положении, отпускает и где-нибудь поблизости у столбика или у дерева оставляет заметку, вернее всего с какими-нибудь условиями сожительства на будущее время. Побежденный, понюхав заметку, оставляет на том же месте свою: вероятно, просто расписывается. Редко я наблюдал, чтобы слабейший в своей расписке делал какие-нибудь оговорки, но когда это все-таки бывает, то сильнейший делает новую заметку, и слабейший потом расписывается окончательно.

Но можно ли себе представить, чтобы такой гордец, Ярик, вдруг взял бы и перевернулся вверх брюхом, — конечно, он бросился в бой и первое время грызся с большим успехом.

Не помня себя от страха за Ярика, я бросился сначала к корыту и вылил всю синюю жидкость на сцепленные разъяренные морды, — ничего это не помогло. Тогда я схватил Верного за хвост и, дав ногой Ярику в грудь, отволок черного, но тем сильней рванулся рыжий и вцепился в него. Я схватил за хвост Ярика, оттащил его, еще хуже. Верный впился в Ярика, и еще бы немного ближе к горлу, и Ярику был бы конец. Но как раз в эту роковую минуту прибежали мои ребята и растащили противников за хвосты.

Верный по своему характеру не помнил зла, но Ярик пошел теперь в открытую вражду, и на дворе нашем жизнь стала совсем невозможная. Пришлось собак разделить, но ведь как усмотришь; стало на душе беспокойно.

Однажды в сентябре, когда можно было быть совершенно уверенным, что в лесу не найдешь тетеревиной матки с молоденькими, я попробовал поохотиться в лесу

с Яриком, и мне это удалось хорошо. Ярик работал прекрасно. Обрадованный успехом моего приема исправить собаку спокойной работой из-под другой собаки, а может быть, просто потому, что было жарко и я устал, только, придя домой, я забыл про Верного и оставил Ярика на том же дворе.

Во время обеда вдруг мы услыхали ужасное рычание под окном и, глянув туда, увидели, как оба врага медленно подступают с поднятой шерстью.

Тут малейшее движение с нашей стороны, крик, и оба непременно бросятся в бой: мы сидим, затаив дыхание, в надежде, что как-нибудь обойдется, рассчитываем, что Ярик сегодня удовлетворен охотой, а Верный вообще добрейший пес.

С грозно поднятой шерстью Ярик подошел к Верному вплотную: тот не рычал, но мрачно ждал, что будет дальше. Ярик делает вокруг Верного медленный обход, подходит к стене и оставляет на ней свою первую заметку, вероятно, условие договора. В это время крайне осторожно подходит к Ярику Верный и, пока тот пишет заявление, обнюхивает у него основание хвоста. Потом, прочитав написанное на стене, Верный делает какие-то свои поправки, а Ярик нюхает основание хвоста Верного. Ярик согласен, расписывается, после чего Верный, сделав полукруг, в последний раз окончательно подписывает бумагу, что, в сущности, у них, вероятно, означает ратификацию мирного договора.

С тех пор у нас мир на дворе и на охоте строгое разделение обязанностей. Верный больше по лесу и в лесу по крепким местам с колокольчиком на тетеревов, белых куропаток и на осенних жирных вальдшнепов, Ярик по болоту на бекасов, дупелей, в поле на серых куропаток; в лесу же я спокоен с ним только на видных местах, в редких кустарниках, на опушках и полянках.

КЭТ

Кэт — собака от премированных родителей, хорошо известных всем знатокам собак. Порода ее современная легавая *континенталь*. Рубашка у Кэт двухцветная, на спине два седла, остальное все — по белому как бы кофейные зерна рассыпаны.

Это я переименовал ее в Кэт, а у хозяев она звалась Китти. Владельцы собаки были интеллигентные молодожены. Первые два года у них не было детей, и Китти заменяла им ребеночка. Все два года она лежала у них на диване в Москве. Еще бы немного, и охотничья собака прекрасной породы превратилась бы в бесполезную изнеженную фаворитку. Но к концу второго года молодой женщине стало трудно спускаться и подниматься с собакой на пятый этаж, а муж весь день был на службе. В это время у меня случилось несчастье с Верным — его искусала бешеная собака, и мне было бы теперь слишком тяжело рассказывать, как пришлось с ним расстаться. Узнав о легавой, я, все-таки недовольный своим слишком горячим Яриком, решил заняться этой собакой, уговорил хозяев, они недорого мне ее продали и, всплакнув, просили никогда не бить.

Я слышал от опытных дрессировщиков, что двухлетний возраст для натаски не беда, лишь бы только собака была не тронута неумелой рукой. А Кэт была до того не испорчена, что даже за птичками не гонялась, охотилась вначале только за цветами: на ходу очень любила скусить и высоко подбросить венчик ромашки. Свойство ее породы — исключительная вежливость и понятливость, и хорошо было, что она самка: сучка всегда умней. Все, что называется *комнатной дрессировкой,* я проделал с ней почти что в один день. Я положил на пол белого хлеба, и, когда собака сунулась было к нему, я с громким криком «тубо» угостил ее щелчком.

— Это тебе, — говорю, — не в Москве на диване лежать.

В четверть часа я не только научил ее не хватать пищи без позволения, а даже не трогать кусочек, если он лежал на носу.

Потом я выучил ее *вперед* и *назад,* действуя исключительно только повышением голоса, *ищи, сюда, тише, к ноге.* На другой день я учил собаку в густом орешнике, где не было никакой дичи: я прятался в кустах, она меня разыскивала, и так в один день я научил ее короткому лесному поиску. В поле, конечно, не сразу далось: я ходил, как яхта против ветра, галсами, движением руки или легким посвистыванием заставлял ее делать то же самое. Дня три я так ходил, и, наконец,

все необходимое для начала натаски по живой дичи было сделано.

Я повел Кэт в натаску на болото, когда бекасы и дупеля еще не высыпали из крепких мест в открытые, и там были только молодые чибисы. Написано совершенно неверно в охотничьих руководствах, что будто бы чибис плохой материал для натаски: я не знаю лучшего. Правда, горячих собак старые чибисы несколько волнуют, но их легко разогнать выстрелами, зато уж молодой лежит рыжей лепешкой до того крепко, что очень легко ногой наступить.

Кэт поначалу не чуяла этих лепешек, я нашел сам, сковырнул, лепешка сделалась чибисом, и он, не умея еще летать, заковылял между кочками. Сказав *умри,* я уложил собаку, но позволил ей провожать глазами чибиса, пока он опять не залег между кочками лепешкой.

— Тихо, вперед!

И Кэт пошла, ужимаясь. Стойки не сделала, а только понюхала, и тот опять тронулся в ход. Я повернул голову собаки в другую сторону, чтобы она не видела, где снова заляжет чибис, сам же заметил и пустил искать против ветра галсами.

Ветру она не взяла, но нижним чутьем прихватила и принялась строчить, как на швейной машинке, пока не нашла. Стойки опять не было, опять она спихнула чибиса носом. Я проделал то же сто раз и ничего не добился: причуять по воздуху и остановиться собака не могла. Я ушел с болота в раздумье: очень может быть, что собака за два года комнатной жизни в Москве потеряла природное чутье. Но, может быть, в новых условиях чутье возродится.

Ляхово болото, где я проделывал опыты с чибисами, от меня восемь верст. Мне невозможно было ходить туда часто и следить, когда появятся на чистых местах бекасы и дупеля. Но зато у себя, возле озера, в болотных зарослях, я нашел болотинку десятины в две, и Кэт сковырнула тут двух старых бекасов. По этим двум бекасам я и стал ежедневно натаскивать собаку. Все-таки и эта прогулка у меня отнимала утром часа два, и притом каждый раз необходимо было переодеваться, потому что пролезать на болотинку надо было по очень топким местам. И досадно же было возвращаться всег-

да с одним и тем же результатом: Кэт, ковыряя в болоте, спугивала бекасов без всякой для себя пользы.

Однажды я взял с собой на болото ружье и убил одного из бекасов. Он свалился в крепь. Кэт его там разыскала, но совершенно так же, как молодого чибиса: крутилась до тех пор, пока уставилась в него носом в упор. Все-таки польза была от этого, что она познакомилась с запахом птицы, так что на другой день я мог рассчитывать на какое-нибудь новое достижение.

Муки творчества, я думаю, переживают не только поэты, в собачьих делах муки не меньше, и тоже вдруг ночью приходит в голову иногда ясная мысль, от которой потом начинаются новые пути в исканиях. Мне вспомнился ночью спор в журнале «Охотник» о жизни бекасов: одни писали, что самец-бекас после оплодотворения самки не участвует в дальнейшей жизни семьи, другие, напротив, говорили, что бекас-самец часто держится возле гнезда. И вот я подумал о своих двух бекасах, что один был самец, а другая — самка и что тут вблизи должно быть у них непременно гнездо. Утром я с большим интересом иду на болотце. Кэт ковыряется, бекас вылетает, она добирает и торчит в одной точке. Раздвигаю болотную траву и нахожу на кочке четыре бекасиных яйца, поражающих своей величиной относительно тела самого бекаса.

Хорошо, как хорошо! Я теперъ буду ежедневно приучать собаку к стойке, буду непременно подводить на веревочке, разовью постепенно чутье, потом выведутся молодые бекасы, буду их ловить, прятать...

Как интересно было на другой день прийти на это болото, но того, что случилось, я не ожидал. Всего от входа в болотце и до гнезда, я думаю, шагов двести, и вот как только вышла Кэт из кустов, самое большее, может быть, прошла шагов пятьдесят, значит, уже наверно на полтораста шагов, делает стойку, ведет, ближе, ближе, да как ведет-то: тяп, тяп своими тонкими ножками, как балерина. Сапожищи у меня конские, огромные, их сделал один безработный поп и так хозяйственно, что нужно на ногу целый дом тряпья навернуть. Она ступит, и слышно разве только, что капелька стукнет о воду. Я иду, как мамонт. Из-за моего шума она останавливается, смотрит на меня страшно строго и только не говорит:

— Тише, тише, хозяин!

Шагов за пять она остановилась окончательно, я оглаживал ее, поощряя двинуться еще хоть немножечко, но дальше двинуться было невозможно: как только я хляпнул своим сапогом, бекасиха вылетела.

Кэт взволновалась, казалось, говорила:

— Ах, ах, что такое случилось?

Но с места не двинулась. Я позволил ей осторожно подойти и понюхать гнездо.

Я был счастлив, но когда выходил с болота, то заметил начало болотного сенокоса, и мне сказали, что это болотце тоже будут косить сегодня же вечером. Нельзя было попросить крестьян не трогать гнезда, их было много, и один непременно нашелся бы такой, который нарочно бы и разорил, если бы я попросил. Я вернулся на болото, срезал несколько ивовых веток, воткнул их возле гнезда, и получился кустик. Я боялся только одного, что бекасиха испугается веток и бросит гнездо. Нет, на другой день Кэт повела меня по скошенному болоту совершенно так же, как и вчера, и остановилась возле скошенного кустика опять на пять шагов, и опять бекасиха вылетела.

Одновременно со мной, конечно, где-то в других местах, натаскивали своих собак художник Борис Иванович и один доктор. У Бориса Ивановича был французский пойнтер, у Михаила Ивановича ирландская сука. Вот я позвал их к себе, будто бы просто чаю попить, побеседовать, а потом завел их в болотце и показал...

Словом, я затрубил в трубу, счастье мое было так велико, что даже неловко было, и я говорил художнику:

— Вы очень умно сделали, Борис Иванович, что для натаски взяли пойнтера, видите, мой в три недели готов.

Доктору я говорил:

— Вы очень умно сделали, Михаил Иванович, что выбрали ирландского сеттера, поработаете, но зато потом уж собаку получите незаменимую.

Конечно, они мгновенно разнесли слух о моих необыкновенных способностях натаскивать собак, и в своем месте я стал знаменитостью.

Нет, молодые собачники, охотники, молодожены, поэты, не верьте никогда внезапному счастью, знайте, напротив, что иллюзия эта на самом деле есть величайший барьер на вашем пути, и вы должны не сидеть на

нем, а перескочить. Неделю, не больше, я наслаждался идеальными стойками замечательно породистой Кэт...

Болотце, когда сено убрали и прошло еще с неделю времени, еще лучше позеленело, чем было, и раз, когда я пришел на него в чудесный серенький день, выглядело страшно аппетитно, казалось, вот-вот должен вылететь бекас. И он, правда, как только ступила Кэт, вылетел. Она на него не обратила никакого внимания. Потом вылетел у нее прямо из-под ноги совсем еще молодой бекасенок. Собака, не обращая внимания, вела к гнезду, как безумная. И другой молодой вылетел, и третий, и четвертый, пятый... Она все вела и вела. И так же, как раньше, стала мертво в пяти шагах от гнезда, а когда я посмотрел, в гнезде были только скорлупки.

Я подумал, что гнездо пахнет сильнее самих бекасов, и выбросил скорлупки.

На другой день собака вела по кочке.

Уничтожаю кочку, складываю на месте гнезда сушь, зажигаю костер.

Собака сталкивает ногой молодых бекасов и ведет по кострищу.

Значит, все время с самого начала она работала только по памяти.

Значит, все было только *представление.*

Значит, собака не чует самую жизнь, а только ее представляет. Это не собака — друг и помощник охотника, не производительница живых чутьистых щенков, — это собака-актриса.

Многие охотники в таких случаях выстрелом кончают с такой собакой. Я же решил попробовать уговорить ее прежних хозяев взять ее обратно, намекнув на обычный конец таких собак у охотников.

В день разрешения охоты я позабавился с ребятами стрельбою уток: это не моя охота. Через неделю ходил по тетеревиным выводкам — люблю, но не совсем. Я люблю стрелять самых поздних тетеревов, и когда собака останавливается на громадном от них расстоянии, сам соображаешь, как бы так зайти, чтобы их встретить, и когда это удастся, то каждый убитый за десять летних считается.

Рябина все краснеет и краснеет. Стрижи давно улетели. Табунятся и ласточки. Скосили овсы. Пожелтели сверху донизу липы, а в болотах осины и березы. Было

уже два легких морозца. Почернела ботва картофеля, и начался разрыв души у охотника: в лесу — интересные черные тетерева, в болоте — жировые бекасы, в поле — серые куропатки.

Стараюсь все захватить, но сказали:

— Вчера Борис Иванович убил пролетного дупеля.

Тогда тетерева, куропатки — все брошено, и я за восемь верст в Ляховом болоте стерегу валовой пролет, и если сегодня два убито, а завтра три, говорю: *подсыпапают*.

Вот однажды в самый разгар дупелиных высыпок мои ужасные сапоги наконец-то растерли так мою ногу, что идти в болото было уже невозможно. Нанять лошадь во время рабочей поры и дорого и, главное, мне стыдно: такой уж я уродился, не могу *ехать на охоту*.

Денек задумался. В больших березах золотые гнезда. Такая грустная, такая жалкая подходит ко мне Кэт. Как она похудела!

Мне стало жалко хорошенькую собачку. Серые куропатки у нас прямо за двором на жнивье, и потому, что это так близко, я их за дичь не считаю, берегу, не стреляю. Но почему же не попробовать на них собаку и парочку не убить на жаркое?

Выхожу в поле в сандалиях. Ветерок дует как раз на меня. Пускаю Кэт, как яхту, галсами против ветра. На одном из первых галсов она схватила воздух, прыгнула в сторону и стала. Она постояла немного и грациозно, как балерина, прыгнула в другую сторону, опять стала и глядела все в одну точку. Потом она постояла и начала все это пространство между мной и невидимой целью, бегая из стороны в сторону, срезать, как сыр, тонкими ломтиками. Когда, обнюхав, она поняла, что уже недалеко, вдруг повела совершенно так же, как тогда по пустому бекасиному гнезду.

Стала она, как мотор, вся дрожала, удерживаясь с трудом от искушения прыгнуть в самую точку запаха.

И вдруг? Знаете с каким треском вылетает громадный, штук в тридцать, табунок серых куропаток? Я выстрелил и раз и два. Обе куропатки упали недалеко.

И она это *видела*.

Тогда-то, наконец, мне все стало ясно. Я натаскивал собаку в лесном болотце, окруженном кустами, где не было движения воздуха. Там она не могла понять, что

от нее требуют, и тыкалась носом в землю. Тут от сильного ветра у нее сразу пробудилось забитое городом уменье пользоваться чутьем.

Но раз она поняла по куропаткам, то непременно должна в открытом болоте взять бекасов и дупелей. Я совсем и забыл, что вышел в сандалиях, что с собой у меня нет и корочки хлеба. Да разве можно тут помнить! Прямо, как есть, я спешу, почти что бегу в Ляхово болото за восемь верст.

Первое испытание было в очень топком месте, так что собаке было по брюхо. Она повела верхом к темнеющей кругловинке. Это оказалось прошлогодней остожиной. Там поднялись сразу дупель и бекас. Я успел убить только дупеля. Но она разыскала и перемещенного бекаса. Я убил и бекаса. А потом все пошло и пошло.

Ляхово болото тянется на пять верст, а солнце спешит. Я до того дохожу, что прошу солнце хоть немножечко постоять, но бесчеловечное светило садится. Темнеет. Я уже и мушки не вижу, стреляю в наброс.

Потом я выхожу из болота на жнивье и чувствую страшную боль в ноге: жнивье впилось в мои раны, а сандалии давно и совершенно нечувствительно для меня утонули в болоте.

После больших и прекрасных охот в Ляхове мне случилось однажды зайти на ту болотинку-сцену, где Кэт когда-то давала свое, чуть не погубившее ее жизнь, представление. И вот какая у них, оказывается, память; ведь опять подобралась и повела было по пустому месту. Но запах настоящего живого бекаса перебил у нее актерскую страсть, и, бросив фигурничать, она повела в сторону по живому. Я не успел убить его на взлете, стал вилять за ним стволом до тех пор, пока в воздухе от этих виляний мне не представилась как бы трубочка, я ударил в эту трубочку, и бекас упал в крепь. В этот раз я наконец решился послать собаку принести, и скоро она явилась из заросли с бекасом во рту.

НЕРЛЬ

I

Мы ждали это 14 марта, но 12-го вечером появились признаки, что событие совершится, может быть, в эту же ночь, и потому я побежал в аптеку за сулемой и карболкой, а жена пошла в сарай за соломой. Когда я вернулся, солома была уже в кухне, я опрыскал ее сулемой, уложил в углу, и весь этот угол отгородил бревном и, чтобы не откатывалось, прибил к стене гвоздями. Наша Кэт знала цель этих приготовлений по прошлому разу, дожидалась спокойно и, как только я кончил работу, шагнула через бревно и свернулась в углу на соломе.

Мы не ошиблись: в эту ночь Кэт родила нам шесть щенков: три сучки и три кобелька. Все три сучки были поменьше кобельков и вышли совершенно в мать, в немецкую легавую с большими кофейными пятнами на белом и по белому частый крап. У одной на макушке, на белой лысинке, была одна копейка, у другой — две копейки, третья сучка была без копейки, просто с белой полоской на темени, и заметно была поменьше и послабее сестер. А кобельки вышли в отца, Тома; пятна были несколько потемнее, у двух почему-то на белом пока не было крапу, а третий был значительно крупнее других, весь в пятнах, крапе, таком частом, что казался весь темным, и вообще был тяжел и дубоват. *Дубец*—мелькнуло слово у меня в голове, я поймал его и вспомнил охоты свои по выводкам на речке Дубец. Слово мелькнуло недаром, я очень удачно охотился на Дубце, и мне показалось — неплохо будет в память этих охот назвать новую собаку Дубцом. Да и пора вообще бросить трафаретные клички и давать свои собственные, местные, ведь каждый ручеек, каждый пригорок на земле получил свое название без помощи греческой мифологии.

Из этого помета я решил себе оставить кобелька и сучку. Название для сучки мне сейчас же пришло в голову, как только мелькнул Дубец. Я назову ее Нерлью, потому что на болотистых берегах этой речки прошлый год много нашел гнездовых дупелей.

Но я не знаю, мне кажется, было что-то больше охоты на этой странной и капризной реке. Она такая из-

вилистая, что местами от излучины до излучины через разделяющий их берег можно было веслом достать. Я плыву на челноке по течению, правлю веслом, чтобы не уткнуться в болотистый берег, подгребаю, завертываю. Впереди виднеется церковь, и кажется очень недалеко, но вдруг река завертывает в противоположную сторону, церковь исчезает, и через долгое время, когда я снова завертываю, село оказывается от меня много дальше, чем было вначале. Слышно, где-то молодой пастух учится играть на берестяной трубе, звуки то сильнее, то тише, но слышны мне — все тот же пастух, та же мелодия, те же ошибки. К обеду я подплываю, но село оказывается не близко от берега, мне идти туда незачем. Я отдыхаю на берегу. Пастух перестал. А потом я удаляюсь вперед по реке, и пастух опять меня преследует до самого вечера. Только уже когда садилось солнце, мне была милость: река выпрямилась, увела меня от села далеко, и в крутых лесных берегах пение птиц перебило оставшееся в ушах воспоминание неверной мелодии. Вода очень быстрая несет меня, только держи крепче весло в руке. Я не пропускаю глазами проплывающую в воде щуку, голубую стрекозу на траве, букет желтых цветов, семью куликов на гнилом краю затонувшего челнока, сверкающий в лучах вечернего солнца широкий лист водяного растения, на трепетной струе поклоны провожающих меня тростинок. Какой бесплодный день на реке и какое очарование: никогда не забуду и не перестану любить.

Дикая Нерль, я воплощу твое имя в живую собачку, для которой великим счастьем на земле будет с любовью смотреть на человека, даже когда он запутается в излучинах своей жизни.

II

Со времени рождения моих щенков я устроился обедать в кухне: очень удобно во время еды с высоты стола наблюдать и раздумывать о судьбе этих маленьких животных. Там, внизу, кишит пестрый мир слепцов, и вечно глядят на меня поверх них глаза матери, стараясь проникнуть в меня и узнать судьбу, но я тоже не волен, я не знаю еще, в кого удастся мне воплотить имена Нерль и Дубец. Я же понимаю, что вес и форма не все для рабочей собаки, в собаке должно быть прежде все-

го то, что мы условились называть умом, а это сразу узнать в слепом потомстве красавицы Кэт невозможно. Моя рабочая собака прежде всего должна быть умная, ведь даже слабость чутья вполне возмещается пониманием моего руководства, и с такой собакой больше дичи убьешь, чем с чутьистой, но глупой.

Так я обедаю, ужинаю, чай пью и думаю о своем, и беседую с женой, и глаз не отвожу от гнезда. А если читаю газету, то слышу, как спящие видят сны: в жизни едва рот умеют открыть, а там во сне на кого-то уже по-настоящему лают собачками. Но я бросаю газету, когда они просыпаются и начинается у них интересная борьба за существование. Тогда каждый щенок пускает в ход свою силу, ум, проворство, хитрость в борьбе за обладание задними, самыми молочными сосцами. Как только этот спящий пестрый клубок маленьких собачек пробуждается, все они бросаются в атаку на сосцы. Лезут друг на друга, одни проваливаются и там залегают под тяжестью верхних, неудачники скатываются вниз, мелькая розовыми, как у поросят, животами, оправляются, снова взбираются. Можно бы, конечно, разделить слабых и сильных, кормить их отдельно. Но как узнать действительно слабых и сильных? Сегодня лучшее достается сильным мускулами, завтра сильный умом перехватил добычу у большого и сосет на первой позиции. Я сдерживаю в себе жалость к более слабым на вид и, пока не найду своей Нерли, не позволю себе вмешаться в дело природы.

Тот чумазый щенок, который помог мне выдумать кличку Дубец, в первые же дни настолько окреп, что теперь сразу всех расшвыривает, захватывает самую лучшую заднюю сиську, ложится бревном, не обращает никакого внимания, что на нем лежат другие в два яруса, и знай только почвякивает. А хуже всех маленькой сучке, у которой на темени белая лысинка без копейки, ей достаются только самые верхние сосцы-пуговки, и, верно, она никогда не наедается.

В собачьем понимании мы, конечно, настоящие боги: сидят боги за столом, как на Олимпе, едят, обсуждают судьбу своих собак. А мы каждый день спорим с женой. Женщина жалеет маленькую собачку, говорит мне, что она самая изящная, вся в мать, и нам непременно надо вмешаться в дело природы и не дать ей захиреть. Жа-

лость помогает ей открывать новые и новые прелести в любимой собачке и соблазнять ими меня. Мне и с одной женой трудно бороться за свой план, но однажды на помощь ей к нашему Олимпу присоединяется новая богиня жалости. Это была одна наша знакомая, хрупкая телом, но сильная. Она вмиг поняла другую женщину, и обе стали просить у меня за слабое животное. Я очень уважаю эту Анну Васильевну, мне пришлось пустить в ход все мои силы.

— Не бросайтесь жалостью, — говорил я, — берегите ее для людей, подумайте, что другие просто морят ненужных щенков, а я имею план выбрать себе друга, уважая законы природы. Мы часто губим добро неумной жалостью.

Анна Васильевна попробовала стать на мою разумную точку зрения:

— Да ведь она же больших денег стоит, вы погубите не только собачку в своем опыте, но и деньги.

Я не поверил искренности Анны Васильевны, когда она, бессребреница, заговорила о деньгах, и ответил решительно, чтобы нам больше не спорить и начать о другом:

— Не нужны мне деньги, и пусть собачка погибнет, берегите свое для людей; там, в этом мире...

Я указал вниз на борьбу за сосцы:

— Там не боятся погибели, там смерть принимают как жалость природы.

Мы сели обедать молча. Жена подала Анне Васильевне постное: грибы и кисель. Я очень люблю постное, мои говяжьи котлеты приобретают особенный вкус, когда вокруг постятся. Я ем говяжьи котлеты и стою за посты.

Я извинился перед Анной Васильевной за свои котлеты и, чтобы смягчить резкость своих слов перед этим, стал рассказывать о множестве исцеленных желудков во время постов.

Когда мы доедали последнее блюдо, маленькие животные, там, внизу, насосались молока, стали позевывать, укладываться друг на друга, пока наконец не сложились в свою обыкновенную сонную пирамидку. Для тепла и покоя мы прикрываем их сверху моей старой охотничьей курткой, а мать наконец-то освобождается, отправляется в другой угол к миске с овсянкой, при-

правленной бульоном из костей. Кэт справляется со своим блюдом скорее, чем мы с одним своим третьим, возвращается к гнезду и укладывается возле щенков.

Но, конечно, спор, не доведенный до конца, течение мысли, остановленное насилием, в глубине нас продолжается и благодаря этой неуемности мысли появляется вдруг как бы чудом вне нас повод для продолжения спора и заключения.

Мы говорили о полезном значении постов для здоровья, а в то же время все смотрели в гнездо. И вот под курткой начинается какое-то движение, тихое, осторожное, показывается голова с белой лысинкой и наконец вся она, та самая, слабая, изящная сучка, из-за которой весь сыр-бор загорелся. Все остальные щенки спят крепко и взлаивают. Нет никакого сомнения, что маленькая сучка задумала нечто свое. Сначала, однако, мы думали, что это она, как все щенки, отходит немного в сторону от гнезда, чтобы освободиться от пищи. Но сучка, выбравшись из-под куртки, ковыляет по соломе прямо к матери, сосет из задней сиськи, наливается, засыпает у нее под лопаткой, сытая и в тепле, гораздо лучше, чем под моей охотничьей курткой. Нас всех, конечно, это поразило: ведь только что спорили о жалости, и все обошлось само собой, сучка сыта.

— Вот, дорогая Анна Васильевна, — сказал я, торжествуя победу, — вы же сами не раз мне говорили, что в тяжелой борьбе за кусок хлеба вы завоевали себе нежданное счастье, какое не снится сытым и обеспеченным, что вы благословляете за это даже тех, кто хотел вам причинить зло. Как же должно благодарить меня это маленькое животное, что я не позволил вам его прикармливать и вызвал простую догадку в ее крошечной, только что прозревшей головке!

III

В другой раз, вечером того же самого дня, когда наши щенки пробудились и начали атаку, маленькая сучка с белой лысинкой в этой борьбе не участвовала. А утром я нашел ее не под курткой, а под лопаткой у матери.

Мы очень обрадовались и, не решаясь только за одно это признать ее Нерлью, смеясь, пока стали называт ее Анной Васильевной, которую очень любили. Че-

рез несколько дней, когда наша новая маленькая Анна Васильевна очень поправилась, мы заметили, что она гораздо тверже других щенят начала наступать ножками, и появилась у нее новая особенность: она стала бродить по гнезду, совершая путешествие в уголки, все более и более далекие от матери. Все другие щенки знают только два положения: спать и бороться между собой за сосцы. Анна Васильевна догадалась исключить из своей жизни грубую борьбу за существование, силы ее с каждым днем прибывали, и мы вполне понимаем с женой и очень радуемся, что освобожденную энергию она использует для любознательности. И так спокойно было изо дня в день, погружаясь в природу собак, понимать свою жизнь, свои достижения; ведь тоже почему-то приходилось много бродить.

Пределом путешествий Анны Васильевны было бревно высотой в четыре вершка. Для маленькой тут кончались все путешествия: она могла только поставить передние лапки на бревно и отсюда заглядывать на простор всего пола, как мы любуемся далью полей. Туда, в эту даль, уходила мать к своей миске, что-то делала там и возвращалась обратно. Анна Васильевна стала дожидаться матери на бревне, а когда она возвращается и ложится, обнимает лапками ее нос, полизывает губы, узнавая мало-помалу вкус бульонной овсянки. И вот однажды, когда Кэт перешагнула через бревно, Анна Васильевна с высоты барьера вгляделась в нее, лакающую бульон, и стала сильно скулить. Мать бросила еду, вернулась, опрокинула дочь носом с барьера и, наверное, думая, что она не может освободиться от пищи, стала ей делать обыкновенный массаж живота языком. Дочь скоро успокоилась, мать вернулась к еде. Но как только Кэт удалилась, Анна Васильевна поднялась на барьер и принялась еще больше скулить. Мать оглядывается, не может понять, переводит глаза на меня и начинает тоже скулить.

В глазах ее: «не понимаю ничего, помоги, добрый хозяин».

Я говорю ей:

— Пиль!

Это значит разное, смотря по тону, каким говорится; теперь это значило: «не обращай внимания, принимайся за еду и не балуй собачку». Мать принимается ла-

кать, а дочь, обиженная невниманием матери, делает вгорячах рискованное движение, переваливается через барьер и раскорякой бежит прямо к миске.

Нам было очень забавно смотреть на мать и дочь у одной миски: Кэт, вообще не очень крупная собака с превосходным розовым выменем, вдруг стала огромным животным, и рядом с ней точно такая, с теми же кофейными пятнами, с тем же крапом, с таким же на две трети обрезанным хвостом и во время еды с длинненькой шейкой, крошечная Анна Васильевна, стоит и тоже пробует делать, как мать. Но скоро оказывается, ей мало, чтобы лизать край миски, она поднимается на задние ноги, передние свешиваются за край. Ей, наверно, думается, что это вроде барьера, что стоит приналечь, переброситься, и тогда откроется вся тайна миски. Она делает такое же рискованное движение, как только что было на бревне, и вдруг переваливается в миску с бульонной овсянкой.

Кэт уже довольно много отъела, и Анне Васильевне в миске было неглубоко. Скоро она вываливается оттуда без помощи матери, вся, конечно, покрытая желтоватой овсянкой. Потом она раскорякой бежит обратно, начинает скулить у бревна. В это время случилось, пробудился Дубец и, услыхав какой-то визг за бревном, сам ковыляет туда. А маленькая Анна Васильевна в это время была уже сама на бревне и вдруг — здравствуйте: перевалилась прямо к Дубцу за барьер. Дубец понюхал ее, лизнул — очень понравилось.

Но что всего удивительней было нам, это когда на другой день из-под куртки вылезла Анна Васильевна, вслед за ней высунул здоровенную башку и Дубец, поплелся за ней к барьеру, перевалил через барьер, проковылял к миске, втяпался в нее передними лапами и залакал. После того оказалось, что первое путешествие Анны Васильевны в миску в мире маленьких собачек означало то же самое, что в нашей человеческой жизни открытие новой страны. За Колумбом, известно, все повалили в Америку, а у собак — в миску. Маленькая сучка с белой лысинкой научила Дубца, и потому что он такой громадный и на нем есть что полизать, когда он выгваздывается в овсянке, то первыми припали к нему обе сучки с копейкой на лысинке и с двумя копейками. Обе эти сучки скоро поняли все и тоже стали путешест-

вовать к миске. Но долго еще два больших белых без крапу и с розовыми рыльцами кобелька держались отдельно от веселого общества и ничего не знали об открытии Америки. Нам пришлось поднести дикарей к тарелке и насильно, уткнув их носы в молоко, держать там, пока не поймут и не хлебнут. И голос наш, призывавший «тю-тю-тю», первая поняла Нерль, и Дубец пустился бежать по примеру ее, потом вслед за Дубцом бежали и сестры ее, сучки с копейкой и двумя копейками на лысинках, и под конец согласились дружные дикари с розовыми рыльцами. А когда однажды во время нашего обеда собачья публика пробудилась и тоже захотела обедать и Нерль, почувствовав голод, бросила скулящих сестер и братьев, подбежала к Олимпу и стала теребить богов за штаны и за юбку, то нам не оставалось никакого сомнения, что маленькая изящная собачка с белой пролысинкой была именно наша задуманная Нерль.

БЕЛАЯ РАДУГА

Видал ли кто-нибудь белую радугу? Это бывает на болотах в самые хорошие дни. Для этого нужно, чтобы в заутренний час поднялись туманы и солнце, показываясь, лучами пронизало их. Тогда все туманы собираются в одну очень плотную дугу, очень белую, иногда с розовым оттенком, иногда кремовую. Я люблю белую радугу, она мне, как молодая мать с полной грудью молока. Белая радуга в это утро одним концом своим легла в лесистую пойму, перекинулась через наш холм и другим концом своим спустилась в ту болотистую долину, где я сегодня буду натаскивать Нерль.

Рожь буреет. Луговые цветы в этом году благодаря постоянным дождям необыкновенно ярки и пышны. В мокрых, обливающих меня ольховых болотных кустах я скоро нашел тропу в болота, и увидел на ней далеко впереди: утопая в цветах, свесив на грудь мглистую бороду, спускался в долину простой Берендей. Я залюбовался долиной, над которой носились кроншнепы, и до тех пор не мог стронуться с места, пока Берендей скрылся в приболотных кустах. Тогда и я сам, как Берендей, утопая в роскошных цветах, среди которых

была, впрочем, и Чертова теща, стал спускаться по следам того старого Берендея в приболотницу, высокий кочкарник, заросший мелкими, корявыми березками. Эта широкая полоса приболотницы, сходящая на нет возле пойменного луга, казалась мне прекрасным местом для гнездования бекасов и дупелей. Я только собрался было полазить в кочках, как вдруг вдали над серединой зеленой долины услышал желанный крик, похожий на равномерное повизгивание ручки ведра, когда с ним идут за водой. Ка-чу-ка-чу... — кричал бекас, вилочкой сложив крылья и так спускаясь в долину. Точно заметив место, куда опустился бекас, я с большим волнением веду туда на веревочке Нерль. Трава очень высокая, но там, где спустился бекас, все ниже, ниже, и вот, наконец, на топкой, желтоватым мошком покрытой плешине, по-моему, и должен бы находиться бекас. Ставлю собаку против ветра и даю ей его немного хлебнуть. А мой головной аппарат на это время почему-то занялся темой: «Человек на этом деле собаку съел». Мне думается, эта поговорка пошла от егерей: в дрессировке тугой собаки человек до того может себя потерять, что стоит и орет без смысла, без памяти, а безумная собака носится по болоту за птицами, и это значит собака съела охотника. Но бывает, собака не только слышит и понимает слова, но даже, если охотник, вспомнив что-то, тяжело вздохнет на ходу, идущая рядом собака остановится и приглашает глазами поделиться с ней этой мыслью, вызвавшей вздох: вот до чего бывает очеловечена собака, и это значит — человек на своем деле собаку съел. Нерль у меня полудикая, и, пуская ее возле самого бекаса, я волнуюсь, что сегодняшним утром с белой радугой съест она во мне доброго и вдумчивого человека, каким стараюсь я быть. И тут же волнуюсь, ласкаю себя надеждой, что не ошибся в выборе собаки, что совершится почти невозможное, собака с первого разу поймет запах бекаса и поведет. Но нет, или она его не чует, или вовсе нет его вблизи этой плешинки. Раздумывая об исчезнувшем бекасе, я вспомнил Берендея и подумал: не он ли это тогда поднял бекаса? В то же время слышу, кто-то кричит:

— Эй ты, борода!

Вижу, сам Берендей, свесив на грудь мглистую бо-

роду, одной рукой опирается на косу, а другой показывает мне куда-то на мысок, поросший мелкими корявыми березками. Теперь все вдруг мне стало понятно: проходя мыском, Берендей спугнул самку бекаса, она, бросив пасти своих молодых, высоко взлетела, спустилась, и тут на спуске я ее увидал. А в то время как я подходил, пустилась бежать между кочками, как между высокими небоскребами, невидимая мне, в ту сторону, где оставила своих молодых. Все эти проделки я наблюдал множество раз и теперь не ошибся: только я стал на березовый мысок, бекасиха с криком «ка-чу-ка-чу» взлетела и неподалеку, как в воду, канула в болотную траву. Внизу в невидимых глазу темных таинственных коридорах кочкарника бекасиха бегает свободно, взлетает, когда ей вздумается на нас посмотреть, опять садится близехонько и сигнализирует детям.

Там, в осоке, есть небольшой плес, и к нему лучами сходятся среди обыкновенной болотной травы темно-зеленые полосы: это бегут невидимые ручьи под травой. У самой воды редеет осока, и плес окружает драгоценная для ночной жизни бекасов открытая грязь, в нее они запускают длинные свои носы, и этими пинцетами отлично достают себе червячков. На середине воды кувшинки, их стволы, свернутые кольцами, охотники называют батышками, тут на этих батышках дневной утиный присадок. Около плеса мы и нашли сразу весь выводок молодых, их всех было четыре, в матку ростом, но вялые на полете. Взяв Нерль на веревочку, я направил ее к месту, где опустился замеченный мною молодой бекас. И много же мы помяли травы, но найти не могли даже и молодого бекаса. Потом я перешел на другую сторону плеса, где опустился второй из выводка, много и тут намесил, но разыскать не мог и второго. Утомленный долгой бесплодной работой, вынул я папиросы, стал закуривать, а веревочку бросил. В тот момент, когда я все свое внимание сосредоточил на конце папироски и горящей спичке, чтобы одно пришлось верно к другому, я вдруг почувствовал, что там, вне поля моего ясного зрения, что-то произошло. Взглянув, я увидел: бекасенок тряпочкой летит в десяти шагах от меня, а Нерль, крайне удивленная, смотрит на него из травы. Я еще не догадывался, почему же именно бекас нашелся в то время, когда я пустил свободно веревку и занялся своей папи-

роской. Звено моей мысли, соответствующее нарастающему сознанию собаки, выпало, и потому дальнейшее мне явилось вдруг...

В данный момент я не иду по болоту, а записываю звенья своей, осмелюсь сказать, творческой мысли. И как же не творческой, если хотя бы одну охотничью собаку я прибавляю к общему нашему богатству. Я видел: на стороне Берендей во время моей долгой работы с собакой косил траву и, отдыхая, иногда глядел на меня. Я уважал его дело, он тоже творил, его материал была трава. А Нерль? Сейчас я покажу, она была тоже творцом, ее материал был бекас. А у того тоже свое творчество, свои червячки, и так без конца в глубину биосферы, смерть одного на одной стороне являлась созданием на другой. Вот вдали слышится свисток плавучего экскаватора, — подняли его! — там эта землечерпательная машина, мало-помалу продвигаясь руслом речки вверх, приближалась к нашим болотам, чтобы спустить из них воду, и осушить, и сделать ненужной, бессмысленной мою артистическую работу в этих местах.

Я был утомлен, свисток машины был готов переключить мое жизнеощущение творца, уверенно и радостно поглощающего свои материалы, на унылое чувство — самому рано или поздно отдаться необходимости для кого-то стать материалом. А человек, по колено в воде подсекающий осоку для зимнего корма своей единственной коровы, мне казалось, с насмешкой смотрел на мое бесполезное дело.

И вдруг... вот в том-то и дело, что никакого вдруг и не было вовсе. Это произошло только потому, что я, желая закурить, предоставил Нерли свободу. Множество лет предки породистой Нерли были в руках человека, который естественное стремление собаки подкрадываться к добыче и останавливаться, чтобы сделать прыжок и схватить, разделил: она останавливается, это ее стойка, а прыжок человек взял себе — этот прыжок его выстрел, достигающий цели гораздо вернее собаки. За множество лет культуры это вошло в кровь легавой собаки стоять по найденной дичи, выполнение стойки стало ее свободой, а дело дрессировщика только умело напомнить о живущем в ней ее назначении. Но я не напомнил своей Нерли, а только сбивал, потягивая ве-

ревочку. И когда я бросил веревку, она осталась на свободе и сразу нашла бекасенка, — это действие чувства свободы, необходимое и для собачьего творчества, и было пропущенным мною звеном. Теперь я все восстанавливаю. Причуяв на свободе бекасенка, она не сразу нашлась в наследственных навыках, потянулась, спугнула. Она подняла голову высоко из травы, чтобы поглядеть в сторону улетающего, но ветерок принес ей какой-то новый запах с другой стороны, она поиграла ноздрями, на мгновенье взглянула на меня и что-то вспомнила...

Совершенно так же, как в жмурках, бывало, мы, ребята, шли с завязанными глазами, так и она переступала с лапы на лапу в направлении плеса. Там на грязи было множество ночных следов. Я бы рад был, если бы она верхним чутьем подвела к следам улетевших на рассвете бекасов. Довольно мне, чтобы она остановилась по ним с подогнутой лапой и так замерла. Но она, кроме того, повернула ко мне голову и просила глазами:

— Дело какое-то очень серьезное, такого еще не бывало, иди помогать, только не торопись, не шлепай, я же все равно почему-то дальше не могу тронуться.

А когда я к ней наконец подошел совсем близко, дрогнула, заволновалась, как бы стыдясь, стесняясь:

— Так ли я все это делаю?

Я гладил ее, вгляделся своим охотничьим взглядом и такое заметил, чего ей бы никогда и не разглядеть: шагах в десяти от нас из-под травы, густой и темной, выбивался в плес небольшой ручеек, между рукавами его был ржавого цвета круглый, не больше сиденья венского стула, остров, и тут на нем я сразу обратил внимание на две золотистые, округло по бутылочке к горлышку сходящиеся линии, все кончалось длинным носом, отчетливым на фоне дальнейшей воды, — это был маленький гаршнеп, только по золотистым сходящимся линиям и носу различимый от окружающей его ржавчины, согласной с остальным его оперением.

А Нерль все стояла. Как хорошо мне было! Я посмотрел в ту сторону, где Берендей косил осоку. Опираясь на косу, этот другой творец внимательно смотрел на меня. Я показал ему рукой на собаку, передавая слова:

— Смотри, не напрасно я трудился все утро, смотри, стоит!

Берендей бросил косу, развел руками, передавая слова:

— Удивляюсь, егерь, удивляюсь, больших денег теперь стоит собака!

Потом опять был свисток экскаватора, но какое мне теперь дело было до того, что когда-то болото осохнет, если я в это утро понял секрет всякого творчества. Пусть все болота осушат. Я создам в природе небывалое охотничье угодье и напущу туда множество птиц с длинными носами и прекрасными ночными глазами.

РОМКА

Первая стойка. Мой легавый щенок называется Ромул, но я больше зову его Ромой или просто Ромкой, а изредка величаю его Романом Василичем.

У этого Ромки скорее всего растут лапы и уши. Такие длинные у него выросли уши, что, когда вниз посмотрит, так и глаза закрывают, а лапами он часто что-нибудь задевает и сам кувыркается.

Сегодня был такой случай: поднимался он по каменной лестнице из подвала, зацепил своей лапиной полкирпича, и тот покатился вниз, считая ступеньки. Ромушка этому очень удивился и стоял наверху, спустив уши на глаза. Долго он смотрел вниз, повертывая голову то на один бок, то на другой, чтобы ухо отклонилось от глаза и можно было смотреть.

— Вот штука-то, Роман Василич, — сказал я, — кирпич-то вроде как живой, ведь скачет!

Рома поглядел на меня умно.

— Не очень-то заглядывайся на меня, — сказал я, — не считай галок, а то он соберется с духом, да вверх поскачет, да тебе даст прямо в нос.

Рома перевел глаза. Ему, наверное, очень хотелось побежать и проверить, отчего это мертвый кирпич вдруг ожил и покатился. Но спуститься туда было очень опасно: что, если там кирпич схватит его и утянет вниз навсегда в темный подвал?

— Что же делать-то, — спросил я, — разве удрать?

Рома взглянул на меня только на одно мгновение, и я хорошо его понял, он хотел мне сказать:

«Я и сам подумываю, как бы удрать, а ну как я повернусь, а он меня схватит за прутик*?»

Нет, и это оказывается невозможным, и так Рома долго стоял, и это была его первая стойка по мертвому кирпичу, как большие собаки постоянно делают, когда носом почуют в траве живую дичь.

Чем дольше стоял Ромка, тем ему становилось опасней и страшней: по собачьим чувствам выходит так, что чем мертвее затаится враг, тем ужаснее будет, когда он вдруг оживет и прыгнет.

«Перестою», — твердит про себя Ромка.

И чудится ему, будто кирпич шепчет:

— Перележу.

Но кирпичу можно хоть сто лет лежать, а живому песику трудно, устал и дрожит.

Я спрашиваю:

— Что же делать-то, Роман Василич?

Рома ответил по-своему:

— Разве брехнуть?

— Вали, — говорю, — лай!

Ромка брехнул и отпрыгнул. Верно, со страху ему показалось, будто он разбудил кирпич и тот чуть-чуть шевельнулся. Стоит, смотрит издали, — нет, не вылезает кирпич. Тихонечко подкрадывается, глядит осторожно вниз: лежит.

— Разве еще раз брехнуть!

Брехнул и отпрыгнул. Тогда на лай прибежала Кэт, Ромина мать, впилась глазами в то место, куда лаял сын, и медленно, с лесенки на лесенку стала спускаться. На это время Ромка, конечно, перестал лаять, доверил это дело матери и сам глядел вниз много смелее.

Кэт узнала по запаху Роминой лапы след на страшном кирпиче, понюхала его: кирпич был совершенно мертвый и безопасный. Потом, на случай, она постепенно обнюхала все, ничего не нашла подозрительного и, повернув голову вверх, глазами сказала сыну:

— Мне кажется, Рома, здесь все благополучно.

После того Ромул успокоился и завилял прутиком.

---

* Хвост у пойнтера называется по-охотничьи прутом.

Кэт стала подыматься, он нагнал мать и принялся теребить ее за ухо.

Раннее утро. Солнце еще не встало, в низинах туман. По седой зелени мокрого луга пишет узоры мой быстрый Ромка.

Мы перешли небольшое ржаное польцо́, обрамленное болотным кустарником, утопающим в цветущих травах. Рожь буреет. Луговые цветы в этот год благодаря постоянным дождям необычайно ярки и пышны. Мне их не хочется называть, до того обыкновенны эти названия и так мало говорит каждое в отдельности.

...А когда мы вышли опять на край ржаного поля, то голубые васильки, проглядывающие в аквамарине стеблей, обласкали меня больше, чем звезды ночною порой.

Ромка-пылесос. С поля возили клевер, и мне показалось неудобным стрелять. Ромка сидел двое суток без дела и одурел от скуки. Он выдумал превратить свой нос в пылесос — он так это делает: к тонкой щелке между половицами прижмет ноздрю и остальную часть носа туго пришлепнет, так, что тянется только из щелки, и тянет, и тянет в себя содержимое подполья. Обнюхав одно место, переходит к другому и оставляет на первом мокрый отпечаток своего пятачка.

Мне надоело слушать этот пылесос, пришлось под вечер пройти с ним на болото.

Чудовище в ромашках. Я вышел на суходол и пустил Ромку на широкие круги. Вдруг из куста выскакивает кошка, — не только за свисток схватиться, но даже крикнуть я не успел, как Ромка ринулся.

Я нашел их на поляне: кошка сидела сгорбившись, готовясь к смертельному прыжку, выражение кошки — самое страшное, какое только может быть на свете; так, иной слабейший из людей, в последнем отчаянии чуя смерть, говорит: «Не боюсь, потому что моя смерть будет и смертью твоей!»

Перед этим чудовищем в ромашках Ромка стал неподвижно с налитыми кровью глазами. Я свистнул. Я крикнул. Он медленно перевел глаза на меня. Я потряс в воздухе плетью. Он медленным обходом куста перешел ко мне. А как исчезла кошка, я не видал.

...Ромка такой видный, такой большой, что лошади его пугаются и бросаются в сторону.

УЖАСНАЯ ВСТРЕЧА

Это известно всем охотникам, как трудно выучить собаку не гоняться за зверями, кошками и зайцами, а разыскивать только птицу.

Однажды во время моего урока Ромке мы вышли на полянку. На ту же полянку вышел тигровый кот. Ромка был с левой руки от меня, а кот — с правой, и так произошла эта ужасная встреча. В одно мгновенье кот обернулся, пустился наутек, а за ним ринулся Ромка. Я не успел ни свистнуть, ни крикнуть «тубо» *.

Вокруг на большом пространстве не было ни одного дерева, на которое кот мог бы взобраться и спастись от собаки, — кусты и полянки без конца. Я иду медленно, как черепаха, разбирая следы Ромкиных лап на влажной земле, на грязи, по краям луж и на песке ручьев. Много перешел я полянок, мокрых и сухих, перебрел два ручейка, два болотца, и наконец вдруг все открылось: Ромка стоит на поляне неподвижный, с налитыми кровью глазами; против него, очень близко, — тигровый кот; спина горбатым деревенским пирогом, хвост медленно поднимается и опускается. Нетрудно мне было догадаться, о чем они думали.

Тигровый кот говорит:

— Ты, конечно, можешь на меня броситься, но помни, собака, за меня тигры стоят! Попробуй-ка сунься, пес, и я дам тебе тигра в глаза.

Ромку же я понимал так:

— Знаю, мышатница, что ты дашь мне тигра в глаза, а все-таки я тебя разорву пополам! Вот только позволь мне еще немного подумать, как лучше бы взять тебя.

Думал и я:

«Ежели мне к ним подойти, кот пустится наутек, за ним пустится и Ромка. Если попробовать Ромку позвать...»

Долго раздумывать, однако, было мне некогда. Я решил начать усмирение зверей с разговора по-хорошему. Самым нежным голосом, как дома в комнате во время нашей игры, я назвал Ромку по имени и отчеству:

---

* «Тубо» — значит «нельзя».

— Роман Василич!

Он покосился. Кот завыл.

Тогда я крикнул тверже:

— Роман, не дури!

Ромка оробел и сильнее покосился. Кот сильнее провыл.

Я воспользовался моментом, когда Ромка покосился, успел поднять руку над своей головой и так сделать, будто рублю головы и ему и коту. Увидев это, Ромка подался назад, а кот, полагая, будто Ромка струсил, и втайне, конечно, радуясь этому, провыл с переливом обыкновенную котовую победную песню. Это задело самолюбие Ромки. Он, пятясь задом, вдруг остановился и посмотрел на меня, спрашивая:

— Не дать ли ему?

Тогда я еще раз рукой в воздухе отрубил ему голову и во все горло выкрикнул бесповоротное свое решение:

— Тубо!

Он подался еще к кустам, обходом явился ко мне. Так я сломил дикую волю собаки.

А кот убежал.

ШКОЛА В КУСТАХ

Необходимо научить молодую легавую собаку, чтобы она бегала в поле вокруг охотника не далее ружейного выстрела, на пятьдесят шагов, а в лесу еще ближе, и, главное, всегда бы помнила о хозяине и не увлекалась своими делами. Вот это все вместе — ходить правильными кругами в поле и не терять хозяина в лесу — называется правильным поиском.

Я пошел на холм, покрытый кустарником, и прихватил с собой Ромку. Этот кустарник отводят жителям слободы для вырубки на топливо, и потому он называется *отводом*. Конечно, тут все поделено на участки, и каждый берет со своей полосы, сколько ему понадобится. Иной вовсе не берет, и его густой участок стоит островком. Иной вырубает что покрупнее, а мелочь продолжает расти. А бывает и все вырубят дочиста, на такой полосе остается только ворох гниющего хвороста. Вот почему весь этот большой холм похож на голову, остриженную слепым парикмахером.

Трудно было думать, чтобы на таком месте вблизи города могла водиться какая-нибудь дичь, а учителю молодой собаки такое пустое место на первых порах бывает гораздо дороже, чем богатое дичью. На пустом месте собака учится одному делу: правильно бегать, ни на минуту не забывая хозяина.

Я отстегнул поводок, погладил Ромку. Он и не почувствовал, когда я отстегнул, стоял возле меня, как привязанный.

Махнув рукой вперед, я сказал!

— Ищи!

Он понял и рванулся. В один миг он исчез было в кустах, но, потеряв меня из виду, испугался и вернулся. Несколько секунд он стоял и странно смотрел на меня, — казалось, он фотографировал, чтобы унести с собой отпечаток моей фигуры и потом постоянно держать его в памяти среди кустов и пней, не имеющих человеческой формы. Окончив эту свою таинственную работу, он показал мне свой вечно виляющий прут и убежал.

В кустах — не в поле, где всегда видно собаку. В лесу надо учить, чтобы собака, исчезнув с левой руки, сделала невидимый круг и показалась на правой руке, вертелась волчком.

И я должен знать, что если собака не вернулась с правой руки, значит, где-нибудь она вблизи почуяла дичь и стала по ней. Особенно хорошо бывает следить за собакой, когда идешь просекой, собака то и дело пересекает тропу.

Вот мой Ромка исчез в кустах и не вернулся. Я очень рад, его чувство свободы оказалось на первых порах сильнее привязанности к хозяину. Пусть будет так, я его понимаю: я охотник и тоже это люблю. Я только научу его пользоваться свободой согласно со мной, так и мне и ему будет лучше. Большими скачками, чтобы не оставлять за собой частых следов, по которым легко было бы ему меня разыскать, я перебегаю через кусты на другую полянку. Там на середине стоит большой куст можжевельника. Я разбежался, сделал огромный скачок в середину куста и затаился.

По мокрой земле не был слышен топот собачьих лап, но зато издали донесся до меня треск кустов и частое ха-ха-нье. Я понимаю хорошо это ха-ха-нье, он хватил-

ся меня, бросился со всех ног искать и сразу от сильного волнения задыхался. Однако он довольно верно рассчитал место моего нахождения: проносится по первой поляне, откуда я начал скакать.

Когда все снова затихло, я даю сигнал своим резким свистком. Очень похоже на игру в жмурки.

Мой свист достиг его слуха, вероятно, как раз в то время, когда он в недоумении стоял где-нибудь на полянке и прислушивался. Он верно определил исходную точку звука, пустился во весь дух с паровозным ха-ханьем и стал в начале полянки с кустом можжевельника.

Я замер в кусту.

От быстрого бега и ужасного волнения у него висел язык на боку челюсти. В таком состоянии, конечно, он ничего чуять не мог, и расчет его был только на слух: уши переполовинил, одна половина стоит, другая, обламываясь, свисает и все-таки закрывает ушное отверстие. Пробует склонить голову на сторону, — не слышно, на другую — тоже не слышно. И, наконец, понял, в чем дело: он не слышит потому, что заглушает хозяйский звук своим дыханием, исходящим из открытого рта. Закрывает рот, второпях одну губу прихватил и так слушает с подобранной губой.

Чтобы не расхохотаться при виде такой смешной рожи с поджатой губой, я зажимаю себе рот рукой. Но ему не слышно. Природа без хозяина ему кажется теперь как пустыня, где бродят одни только волки, его предки. Они ему не простят за измену волчьему делу, за любовь к человеку, за его теплый угол, за его хлеб-соль. Они его разорвут на клочки и съедят. С волками жить, надо по-волчьи выть.

И он пробует. Он высоко поднимает голову вверх и воет.

Этого звука я у него никогда еще не слыхал. Он действительно почуял волчью пустыню без человека. Совершенно так же воют молодые волки в лесу, когда мать ушла за добычей и долго не возвращается...

Да оно так и бывает. Волчья матка схватила овцу и несет ее к детям. Но охотник проследил ее путь и притаился в засаде. Волчица убита. Человек приходит к волчатам, берет их к себе и кормит. Неизмеримы запасы нежности в природе, свои чувства к матери волчата переносят на человека, лижут ему руки, прыгают

на грудь. Молодые не знают, что этот человек застрелил их настоящую мать. Но дикие волки все знают, они смертельные враги человеку и этой изменнице волчьему делу, собаке.

Ромка так жалобно воет, что у меня сжимается сердце. Но жалеть мне нельзя: я учитель.

Я не дышу.

Он повертывается задом ко мне и слушает в другой стороне. Может быть, где-нибудь в поднебесье свистнул пролетающий кулик?

Не туда ли забрался хозяин и не он ли зовет к себе на небеса?

А вот это, наверно, в ближайшем болотце корова спугнула чибиса, и он, взлетая, высвистывал свое обыкновенное: «Чьи вы?» Это уж и не так высоко и не так далеко; очень возможно, это свистнул хозяин.

Ромка со всего маху ринулся на это «Чьи вы?», а я вслед ему резко в свисток:

— Вот я!

Он вернулся.

В какие-нибудь пятнадцать минут я измучил его и на всю жизнь напугал лесом пустым, без человека, поселил в нем ужас к жизни его предков, диких волков. И когда наконец-то я нарочно шевельнулся в кусту, и он услыхал это, и я закурил трубку, а он почуял запах табаку и узнал, то уши его опустились, голова стала гладкой, как арбуз. Я встал. Он лег виноватый. Я вышел из куста, погладил его, и он бросился в безумной радости с визгом скакать.

ЕЖОВЫЕ РУКАВИЦЫ

Собака, все равно как лисица и кошка, подбирается к добыче. И вдруг замрет. Это у охотников называется стойкой.

Собака только стоит и указывает, а человек при взлете стреляет. Если же собака при взлете бежит, это не охота. За одной побежит — другую спугнет, третью, да еще и с лаем пустится по болоту турить — охотнику так ничего и не достанется.

Учил я Ромку, чтобы не гонять, и не мог научить.

— Некультурен! — сказал мне однажды егерь Кирсан.

— Как же быть с некультурностью? — спросил я.

Кирсан очень странно ответил:

— Некультурность у собак надо ежом изгонять.

Нашли мы ежа. Я пустил Ромку в тетеревиные места, и скоро он стал по тетерке.

Я позади Ромки стал, а Кирсан с ежом сбоку. Приказываю:

— Вперед!

Ромка с лапки на лапку: раз, два, три...

— Ту-ту-ту! — вылетела.

— Назад! — кричу Ромке.

Ничего не помнит, ничего не слышит. Бросился. И тут-то Кирсан на прыжке сбоку прямо в нос ему ежа. Ромка опомнился, взвизгнул — и на ежа. А ёж ему своими колючками еще здорово поддал. И мы на Ромку и приговариваем.

— Помни ежа, помни ежа!

С тех пор, когда птица взлетает, я говорю негромко:

— Ромка, помни ежа!

Он и опомнится.

Однажды я спросил Кирсана:

— Как это вы, Кирсан Николаевич, пришли к такой догадке, чтобы некультурность ежом изгонять?

— С себя самого перевел, Михайло Михайлович, — ответил Кирсан. — В детстве соседям окна бил из рогатки. Раз поймали меня и говорят: «Этого мальчишку надо взять в ежовые рукавицы!» И взяли. А потом это с себя я на собак перевел с большой пользой.

СТАРШИЙ СУДЬЯ

Люблю я собак! Первое — люблю, конечно, охотиться и держу их для охоты, а еще — и это, может быть, даже больше охоты — люблю поговорить с ними, посмеяться, поиграть и, как говорят, «отвести душу»... Но выставлять своих собак я не люблю... Почему? Вот об этом я и расскажу...

Однажды назначили выставку собак, и мне позвонили из охотничьего общества, что выставлять необходимо.

Ну, если так, делать нечего! Привожу свою Нору.

Небольшая собачка эта Нора, величиной с зайца, на коротких ногах, и хвостик обрублен, а уши длинней сеттеровых, и, если голову держит пониже, уши метут пыль на земле. Во время кормления надеваем колечко из старого чулка, и оно подхватывает уши и не дает им валиться в миску. Псовина у Норы сеттеровая, густая, волнистая, черная с белым, ножки в белых чулочках. На охоте у нас она годится только для уток, вытуривает их из тростников, приносит убитых, вылавливает подранков.

Смешна и мила эта собачка своей важностью: идет — от земли не видно, а сеттер — настоящий сеттер! Из человеческих свойств — у нее замечательная память на адреса, и, говорят, в Лондоне эта собачка, спаниель, водит за собой слепых на веревочке. Привожу я свою Нору на выставку. За столиком сидит регистрирует известнейший у нас главный судья охотничьих собак.

— А. А., — говорю, — не хочется мне свою Нору показывать, если можно, зарегистрируйте и отпустите.

— Это почему? — отвечает. — Чумы боитесь? Не бойтесь! У нас на выставке все предусмотрено.

— Не чумы боюсь, а стыдно сказать: чужого глазу боюсь, сглазят.

Он откинулся назад, поглядел на меня, как глядят русские люди, когда догадываются, что собеседник задумал немного подурачиться, и принялся хохотать, приговаривая:

— Ох, уж эти мне охотничьи писатели!

Отсмеявшись, он положил мне руку на плечо и ладонью по шее потрепал, как лошадей треплют: любовно, с улыбкой дружбы. И, указав на мою спаниельку, сказал:

— Золотая медаль! Я вам ручаюсь: такой другой сучки нет в городе, ей обеспечена золотая медаль. Я это вам как старший судья говорю.

Вот подумайте теперь, как тут совсем отказаться от суеверия? В этих собачьих золотых медалях нет ни малейшей частицы золота, это просто бумажка, на которой только слова. Но довольно было произнести слово «золото», чтобы какой-то яд вошел в меня. Яд вошел в меня в один миг и начал соблазнять меня. Мне вдруг ужа-

сно захотелось получить золотую медаль. Но я знал один тайный порок Норы и сказал:

— Не получит Нора золотую медаль: у нее бульдожинка.

А. А. наклонился к Норе, оглядел ее осторожно, умело развел ей губы и потемнел в лице: зубы нижней челюсти у Норы выступали вперед, а верхние зубы заходили за них.

— Бульдожинка явственная, — сказал он.

— Так отпустите же меня, как я вас просил. Зачем мы будем выставлять собаку с бульдожинкой?

Он побыл немного в задумчивости, с темным лицом. Вдруг молния прорезала тьму, и чистое здоровое лицо его, как природа, обновилось после грозы.

— Отчего же не выставлять? — спросил он. — Не я буду сегодня спаниелей судить, а судьи наши, может быть, и проглядят.

С великим изумлением и смущением я поглядел на него...

Лет тридцать уже я знаю этого человека. Он живет за городом. У него жена — одна на всю жизнь, всегда с ним, несколько замечательных собак, есть гитара и краски. Пишет он исключительно собак и охотничьи сцены. Сбывает картинки в охотничьи магазины. Какая корысть такому совершенно независимому судье кривить душой на собачьих судах? Мало того! Сам я, когда пишу свой охотничий рассказ, виляя между правдой и выдумкой, как в море между волнами, гляжу всегда на А. А., как на маяк. И вот теперь этот-то мой маяк явно ведет меня на скалу.

Он же, видя мою растерянность, подмигнул и сказал:

— И очень просто, что бульдожинку они проглядят. Собака такая очаровательная, такого превосходного экстерьера: про мелочь такую и не вспомнят. Обрадуются — и проглядят. Получите медаль! Ведите!

И я повел.

Это была длинная широкая аллея среди собак разных пород. Была там низенькая каракатица-такса, длинная, на кривых ножках, была огромная борзая с белой расчесанной шелковой псовиной, с бархатным голубым, шитым золотом ошейником, был дрожащий, как часовая пружинка, голенький черный пойнтер, был здоровый и

рыжий ирландец, и волшебная балеринка, самка лаверака, и пуделя были, остриженные подо львов и под дам со шлейфами.

Возле страшных сторожевых собак собрался народ. Разговоры и споры тут были всякие.

— Для чего у них глаза скрываются в кустах, глаз вовсе не видно, как вы думаете, для чего?

Интересный вопрос привлекает многих: никто ничего не знает по книгам, каждый старается догадаться по себе и нисколько не гнушается сравнивать свою человеческую душу с собачьей.

— По-моему, — сказал один из любителей, — кусты на глазах, как и всякие кусты: прохожий думает — куст, а там, в кусту, глаз наблюдает за ним. Сторожевая собака!

Так везде идут разговоры, и все не по книгам, все по себе...

Мы пришли с моей Норой к рингу. Тут были уже все спаниели со своими хозяевами в ожидании судей. Посмотрев на моих конкурентов, я почувствовал в себе ласковое сердце: ни одной мало-мальски даже подходящей для сравнения с Норой собаки не было. И что тут говорить, каждый из нас спортсмен в чем-нибудь: каждый ищет хоть в чем-нибудь установить свое первенство. Как я тут это чувствовал и повторял про себя слова старшего судьи: «Золотая медаль обеспечена!»

Пришли судьи: два великана и один маленький, — все незнакомые. Нас пригласили на ринг, мы попросили собак к левой ноге и пошли друг за другом по рингу кругом. Все судьи, как глянули на мою Нору, так и не отводят от нее глаз...

Радуйтесь, охотники, радуйтесь, дорогие собачники, радуйтесь, все чудесные люди, сумевшие сберечь в себе до старости наше золотое детство. Был я угрюмый себялюбец, сберегавший свою красавицу от чужого глаза и презиравший выставки! Пожалуйте, глядите, вот он перед вами с седеющей бородой, ходит по кругу, водит маленькую собачку и никак не может скрыть от людей своего счастья в борьбе за первенство.

Судьи глядят только на одну Нору, забегут вперед и глядят, отстанут — и глядят сзади; один, великан, стал на колени, другой, маленький, даже и лег.

Но самое главное в этом счастье было, что я и забыл

про бульдожинку: как будто ее вовсе не было или как будто само собой выходило в движении славы, что раз уже свет заметил красавицу, то тут же и простил ей эту бульдожинку.

Судьи вдруг перестали смотреть на мою Нору и делать отметки в своих судейских журналах.

Они собрались все кучкой, и маленький судья махнул рукой в том смысле, что я могу уходить. Мне оставалось сделать несколько шагов до массы людей, гуляющих по широкой аллее. Две-три секунды — и толпа бы меня поглотила, и я исчез бы от суда в толпе, как рыба в воде. Но мне сказали: «Вас зовут!» Я оглянулся и увидел: все судьи руками звали меня обратно к себе.

Нет! Нет! Положа руку на сердце, я и сейчас благословляю этот великолепный путь к славе и верю, что чистого человека он может подвести к самым звездам. В своем падении я сам виноват, что поддался соблазну... Судьи мне сказали:

— Надо посмотреть пасть.

И только посмотрели...

Так вот вынимают билет и проваливаются на экзаменах; век проживи — и все будет сниться, как вынул этот проклятый билет. Но в конце-то концов ведь сам же виноват, что не выучил... Всю свою досаду, конечно, я перенес на А. А.: зачем он вовлек меня в это дело, зачем?

С трудом я нашел его на выставке. И он, сияющий здоровьем, готовый обнять меня и поздравить спросил:

— Ну как, проглядели?

— Совсем было проглядели, — сказал я, — но под конец...

— Заметили? — радостно загораясь, воскликнул он. — Неужели заметили?

— Вы меня подвели...

— Ну, милый, — похлопал он меня по затылку ладонью, — о каких пустяках вы говорите, а судьи-то у нас какие! Что из того, что мы не получим медали, — судьи-то, судьи какие, а..?

И тут вот только и понял я, зачем мне тогда подмигнул старший наш судья собак: это старший судья так сговаривался со мною на испытание маленьких судей; и когда оказалось, судьи хорошие, то действительно стоило ли печалиться, что я потерял золотую медаль?



КЛАДОВАЯ СОЛНЦА

Сказка-быль

I

В одном селе, возле Блудова болота, в районе города Переславль-Залесского, осиротели двое детей. Их мать умерла от болезни, отец погиб на Отечественной войне.

Мы жили в этом селе всего только через один дом от детей. И, конечно, мы тоже вместе с другими соседями старались помочь им, чем только могли. Они были очень милые. Настя была как Золотая Курочка на высоких ножках. Волосы у нее, ни темные, ни светлые, отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх.

Митраша был моложе сестры на два года. Ему было всего только десять лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный.

«Мужичок в мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе.

«Мужичок в мешочке», как и Настя, был весь в золотых веснушках, а носик его, чистенький тоже, как у сестры, глядел вверх.

После родителей все их крестьянское хозяйство досталось детям: изба пятистенная, корова Зорька, телушка Дочка, коза Дереза, безыменные овцы, куры, золотой петух Петя и поросенок Хрен.

Вместе с этим богатством досталось, однако, детишкам бедным и большая забота о всех живых существах. Но с такой ли бедой справлялись наши дети в тяжкие годы Отечественной войны! Вначале, как мы уже говорили, к детям приходили помогать их дальние родственники и все мы, соседи. Но очень что-то скоро умненькие и дружные ребята сами всему научились и стали жить хорошо.

И какие это были умные детишки! Если только возможно было, они присоединялись к общественной работе. Их носики можно было видеть на колхозных полях, на лугах, на скотном дворе, на собраниях, в противотанковых рвах: носики такие задорные.

В этом селе мы, хотя и приезжие люди, знали хорошо жизнь каждого дома. И теперь можем сказать: не было ни одного дома, где бы жили и работали так дружно, как жили наши любимцы.

Точно так же, как и покойная мать, Настя вставала далеко до солнца, в предрассветный час, по трубе пастуха. С хворостиной в руке выгоняла она свое любимое стадо и катилась обратно в избу. Не ложась уже больше спать, она растопляла печь, чистила картошку, заправляла обед и так хлопотала по хозяйству до ночи.

Митраша выучился у отца делать деревянную посуду: бочонки, шайки, лохани. У него есть фуганок, ладило * длиной больше чем в два его роста. И этим ладилом он подгоняет дощечки одну к другой, складывает и обдерживает железными или деревянными обручами.

При корове двум детям не было такой уж нужды, чтобы продавать на рынке деревянную посуду, но добрые люди просят, кому — шайку на умывальник, кому

* Ладило — бондарный инструмент. (Прим. М. Пришвина).

нужен под капели бочонок, кому — кадушечку солить огурцы или грибы, или даже простую посудинку с зубчиками — домашний цветок посадить.

Сделает, и потом ему тоже отплатят добром. Но, кроме бондарства, на нем лежит и все мужское хозяйство и общественное дело. Он бывает на всех собраниях, старается понять общественные заботы и, наверно, что-то смекает.

Очень хорошо, что Настя постарше брата на два года, а то бы он непременно зазнался и в дружбе у них не было бы, как теперь, прекрасного равенства. Бывает, и теперь Митраша вспомнит, как отец наставлял его мать, и вздумает, подражая отцу, тоже учить свою сестру Настю. Но сестренка мало слушается, стоит и улыбается... Тогда «Мужичок в мешочке» начинает злиться и хорохориться и всегда говорит, задрав нос:

— Вот еще!

— Да чего ты хорохоришься? — возражает сестра.

— Вот еще! — сердится брат. — Ты, Настя, сама хорохоришься.

— Нет, это ты!

— Вот еще!

Так, помучив строптивого брата, Настя оглаживает его по затылку. И как только маленькая ручка сестры коснется широкого затылка брата, отцовский задор покидает хозяина.

— Давай-ка вместе полоть, — скажет сестра.

И брат тоже начинает полоть огурцы, или свеклу мотыжить, или картошку полоть.

II

Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет в болотах летом, а собирают ее поздней осенью. Но не все знают, что самая-самая хорошая клюква, *сладкая,* как у нас говорят, бывает, когда она перележит зиму под снегом.

Этой весной снег в густых ельниках еще держался и в конце апреля, но в болотах всегда бывает много теплее: там в это время снега уже не было вовсе. Узнав об этом от людей, Митраша и Настя стали собираться за клюквой. Еще до свету Настя задала корм всем своим животным. Митраша взял отцовское двуствольное

ружье «тулку», манки на рябчиков и не забыл тоже и компас. Никогда, бывало, отец его, направляясь в лес, не забудет этого компаса. Не раз Митраша спрашивал отца:

— Всю жизнь ты ходишь по лесу, и тебе лес известен весь, как ладонь. Зачем же тебе еще нужна эта стрелка?

— Видишь, Дмитрий Павлович, — отвечал отец, — в лесу эта стрелка тебе добрей матери: бывает, небо закроется тучами и по солнцу в лесу ты определиться не можешь, пойдешь наугад — ошибешься, заблудишься, заголодаешь. Вот тогда взгляни только на стрелку — и она укажет тебе, где твой дом. Пойдешь прямо по стрелке домой, и тебя там покормят. Стрелка эта тебе верней друга: бывает, друг твой изменит тебе, а стрелка неизменно всегда, как ее ни верти, все на север глядит.

Осмотрев чудесную вещь, Митраша запер компас, чтобы стрелка в пути зря не дрожала. Он хорошо, по-отцовски, обернул вокруг ног портянки, вправил в сапоги, картузик надел такой старый, что козырек его разделился надвое: верхняя корочка задралась выше солнца, а нижняя спускалась почти до самого носика. Оделся же Митраша в отцовскую старую куртку, вернее же, в воротник, соединяющий полосы когда-то хорошей домотканой материи. На животике своем мальчик связал эти полосы кушаком, и отцовская куртка села на нем, как пальто, до самой земли. Еще сын охотника заткнул за пояс топор, сумку с компасом повесил на правое плечо, двуствольную «тулку» — на левое и так сделался ужасно страшным для всех птиц и зверей.

Настя, начиная собираться, повесила себе через плечо на полотенце большую корзину.

— Зачем тебе полотенце? — спросил Митраша.

— А как же? — ответила Настя. — Ты разве не помнишь, как мама за грибами ходила?

— За грибами! Много ты понимаешь: грибов бывает много, так плечо режет.

— А клюквы, может быть, у нас еще больше будет.

И только хотел сказать Митраша свое «вот еще!», вспомнилось ему, как отец о клюкве сказал, еще когда собирали его на войну.

— Ты это помнишь, — сказал Митраша сестре, —

как отец нам говорил о клюкве, что есть палестинка * в лесу.

— Помню, — ответила Настя, — о клюкве говорил, что знает местечко и клюква там осыпучая, но что он о какой-то палестинке говорил, я не знаю. Еще помню, говорил про страшное место Слепую елань **.

— Вот там, возле елани, и есть палестинка, — сказал Митраша. — Отец говорил: идите на Высокую гриву, и после того держите на север, и, когда перевалите через Звонкую борину, держите все прямо на север, и увидите — там придет вам палестинка, вся красная, как кровь, от одной только клюквы. На этой палестинке еще никто не бывал!

Митраша говорил это уже в дверях. Настя во время рассказа вспомнила: у нее от вчерашнего дня остался целый, нетронутый чугунок вареной картошки. Забыв о палестинке, она тихонечко шмыгнула к загнетке и опрокинула в корзинку весь чугунок.

«Может быть, еще и заблудимся, — подумала она. — Хлеба у нас взято довольно, есть бутылка молока, и картошка, может быть, тоже пригодится».

А брат в это время, думая, что сестра все стоит за его спиной, рассказывал ей о чудесной палестинке и что, правда, на пути к ней Слепая елань, где много погибло и людей, и коров, и коней.

— Ну, так что это за палестинка? — спросила Настя.

— Так ты ничего не слыхала?! — схватился он.

И терпеливо повторил ей уже на ходу все, что слышал от отца о не известной никому палестинке, где растет сладкая клюква.

III

Блудово болото, где и мы сами не раз тоже блуждали, начиналось, как почти всегда начинается большое болото, непроходимою зарослью ивы, ольхи и других кустарников. Первый человек прошел эту приболотицу с топором в руке и вырубил проход для других людей. Под ногами человеческими после осели кочки, и тропа

* Палестинкой называют в народе какое-нибудь отменно приятное местечко в лесу. (Прим. М. Пришвина).

** Елань — топкое место в болоте, все равно что прорубь на льду. (Прим. М. Пришвина).

стала канавкой, по которой струилась вода. Дети без особого труда перешли эту приболотицу в предрассветной темноте. И когда кустарники перестали заслонять вид впереди, при первом утреннем свете им открылось болото, как море. А впрочем, оно же и было, это Блудово болото, дном древнего моря. И как там, в настоящем море, бывают острова, как в пустынях — оазисы, так и в болотах бывают холмы. У нас в Блудовом болоте эти холмы песчаные, покрытые высоким бором, называются боринами. Пройдя немного болотом, дети поднялись на первую борину, известную под названием Высокая грива. Отсюда, с высокой пролысинки, в серой дымке первого рассвета чуть виднелась борина Звонкая.

Еще не доходя до Звонкой борины, почти возле самой тропы, стали показываться отдельные кроваво-красные ягоды. Охотники за клюквой поначалу клали эти ягоды в рот. Кто не пробовал в жизни своей осеннюю клюкву и сразу бы хватил весенней, у него бы дух захватило от кислоты. Но деревенские сироты знали хорошо, что такое осенняя клюква, и оттого, когда теперь ели весеннюю, то повторяли:

— Какая сладкая!

Борина Звонкая охотно открыла детям свою широкую просеку, покрытую и теперь, в апреле, темно-зеленой брусничной травой. Среди этой зелени прошлого года кое-где виднелись новые цветочки белого подснежника и лиловые, мелкие, и частые, и ароматные цветочки волчьего лыка.

— Они хорошо пахнут, попробуй сорви цветочек волчьего лыка, — сказал Митраша.

Настя попробовала надломить прутик стебелька и никак не могла.

— А почему это лыко называется волчьим? — спросила она.

— Отец говорил, — ответил брат, — волки из него себе корзинки плетут.

И засмеялся.

— А разве тут есть еще волки?

— Ну как же! Отец говорил, тут есть страшный волк Серый помещик.

— Помню. Тот самый, что порезал перед войной наше стадо.

— Отец говорил: он живет на Сухой речке в завалах.

— Нас с тобой он не тронет?

— Пусть попробует, — ответил охотник с двойным козырьком.

Пока дети так говорили и утро подвигалось все больше к рассвету, борина Звонкая наполнялась птичьими песнями, воем, стоном и криком зверьков. Не все они были тут, на борине, но с болота, сырого, глухого, все звуки собирались сюда. Борина с лесом, сосновым и звонким на суходоле, отзывалась всему.

Но бедные птички и зверушки, как мучились все они, стараясь выговорить какое-то общее всем, единое прекрасное слово! И даже дети, такие простые, как Настя и Митраша, понимали их усилие. Им всем хотелось сказать одно только какое-то слово прекрасное.

Видно, как птица поет на сучке, и каждое перышко дрожит у нее от усилия. Но все-таки слова, как мы, они сказать не могут, и им приходится выпевать, выкрикивать, выстукивать.

— Тэк-тэк! — чуть слышно постукивает огромная птица Глухарь в темном лесу.

— Шварк-шварк! — дикий Селезень в воздухе пролетел над речкой.

— Кряк-кряк! — дикая утка Кряква на озере.

— Гу-гу-гу... — красивая птичка Снегирь на березе,

Бекас, небольшая серая птичка с носом длинным, как сплющенная шпилька, раскатывается в воздухе диким барашком. Вроде как бы «жив, жив!» кричит кулик Кроншнеп. Тетерев там где-то бормочет и чуфыркает. Белая Куропатка, как будто ведьма, хохочет.

Мы, охотники, давно, с детства своего, и различаем, и радуемся, и хорошо понимаем, над каким словом все они трудятся и не могут сказать. Вот почему мы, когда придем в лес ранней весной на рассвете и услышим, так и скажем им, как людям, это слово:

— Здравствуйте!

И как будто они тогда тоже обрадуются, как будто они тогда тоже подхватят чудесное слово, слетевшее с языка человеческого.

И закрякают в ответ, и зачуфыркают, и зашваркают, и затэкают, стараясь всеми голосами своими ответить нам:

— Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!

Но вот среди всех этих звуков вырвался один — ни на что не похожий.

— Ты слышишь? — спросил Митраша.

— Как же не слышать! — ответила Настя. — Давно слышу, и как-то страшно.

— Ничего нет страшного. Мне отец говорил и показывал: это так весной заяц кричит.

— А зачем?

— Отец говорил: он кричит: «Здравствуй, зайчиха!»

— А это что ухает?

— Отец говорил: это ухает выпь, бык водяной.

— И чего он ухает?

— Отец говорил: у него есть тоже своя подруга, и он ей по-своему тоже так говорит: «Здравствуй, выпиха».

И вдруг стало свежо и бодро, как будто вся земля сразу умылась, и небо засветилось, и все деревья запахли корой своей и почками. Вот тогда как будто над всеми звуками вырвался, вылетел и все покрыл особый, торжествующий крик, похожий, как если бы все люди радостно в стройном согласии могли закричать:

— Победа, победа!

— Что это? — спросила обрадованная Настя.

— Отец говорил: это так журавли солнце встречают. Это значит, что скоро солнце взойдет.

Но солнце еще не взошло, когда охотники за сладкой клюквой спустились в большое болото. Тут еще совсем и не начиналось торжество встречи солнца. Над маленькими корявыми елочками и березками серой мглой висело ночное одеяло и глушило все чудесные звуки Звонкой борины. Только слышался тут тягостный, щемящий и нерадостный вой.

— Что это, Митраша, — спросила Настенька, ежась, — так страшно воет вдали?

— Отец говорил, — ответил Митраша, — это воют на Сухой речке волки, и, наверно, сейчас это воет волк Серый помещик. Отец говорил, что все волки на Сухой речке убиты, но Серого убить невозможно.

— Так отчего же он страшно воет теперь?

— Отец говорил: волки воют весной оттого, что им есть теперь нечего. А Серый еще остался один, вот и воет.

Болотная сырость, казалось, проникала сквозь тело к костям и студила их. И так не хотелось еще ниже спускаться в сырое, топкое болото.

— Мы куда же пойдем? — спросила Настя.

Митраша вынул компас, установил север и, указывая на более слабую тропу, идущую на север, сказал:

— Мы пойдем на север по этой тропе.

— Нет, — ответила Настя, — мы пойдем вот по этой большой тропе, куда все люди идут. Отец нам рассказывал, помнишь, какое это страшное место — Слепая елань, сколько погибло в нем людей и скота. Нет, нет, Митрашенька, не пойдем туда. Все идут в эту сторону,— значит, там и клюква растет.

— Много ты понимаешь! — оборвал ее охотник. — Мы пойдем на север, как отец говорил, там есть палестинка, где еще никто не бывал.

Настя, заметив, что брат начинает сердиться, вдруг улыбнулась и погладила его по затылку. Митраша сразу успокоился, и друзья пошли по тропе, указанной стрелкой, теперь уже не рядом, как раньше, а друг за другом, гуськом.

IV

Лет двести тому назад ветер-сеятель принес два семечка в Блудово болото: семя сосны и семя ели. Оба семечка легли в одну ямку возле большого плоского камня... С тех пор уже лет, может быть, двести эти ель и сосна вместе растут. Их корни с малолетства сплелись, их стволы тянулись вверх рядом к свету, стараясь обогнать друг друга. Деревья разных пород боролись между собой корнями за питание, сучьями — за воздух и свет. Поднимаясь все выше, толстея стволами, они впивались сухими сучьями в живые стволы и местами насквозь прокололи друг друга. Злой ветер, устроив деревьям такую несчастную жизнь, прилетал сюда иногда покачать их. И тогда деревья так стонали и выли на все Блудово болото, как живые существа, что лисичка, свернувшаяся на моховой кочке в клубочек, поднимала вверх свою острую мордочку. До того близок был живым существам этот стон и вой сосны и ели, что одичавшая собака в Блудовом болоте, услыхав его, выла от тоски к человеку, а волк выл от неизбывной злобы к нему.

Сюда, к Лежачему камню, пришли дети в то самое время, когда первые лучи солнца, пролетев над низенькими корявыми болотными елочками и березками, осветили Звонкую борину и могучие стволы соснового бора стали как зажженные свечи великого храма природы. Оттуда сюда, к этому плоскому камню, где сели отдохнуть дети, слабо долетело пение птиц, посвященное восходу великого солнца.

Было совсем тихо в природе, и дети, озябшие, до того были тихи, что тетерев Косач не обратил на них никакого внимания. Он сел на самом верху, где сук сосны и сук ели сложились как мостик между двумя деревьями. Устроившись на этом мостике, для него довольно широком, ближе к ели, Косач как будто стал расцветать в лучах восходящего солнца. На голове его гребешок загорелся огненным цветком. Синяя в глубине черного грудь его стала переливать из синего на зеленое. И особенно красив стал его радужный, раскинутый лирой хвост.

Завидев солнце над болотными жалкими елочками, он вдруг подпрыгнул на своем высоком мостике, показал свое белое, чистейшее белье подхвостья, подкрылья и крикнул:

— Чуф, ши!

По-тетеревиному «чуф» скорее всего значило солнце, а «ши», вероятно, было у них наше «здравствуй».

В ответ на это первое чуфыканье Косача-токовика далеко по всему болоту раздалось такое же чуфыканье с хлопаньем крыльев, и вскоре со всех сторон сюда стали прилетать и садиться вблизи Лежачего камня десятки больших птиц, как две капли воды похожих на Косача.

Затаив дыхание, сидели дети на холодном камне, дожидаясь, когда и к ним придут лучи солнца и обогреют их хоть немного. И вот первый луч, скользнув по верхушкам ближайших, очень маленьких елочек, наконец-то заиграл на щеках у детей. Тогда верхний Косач, приветствуя солнце, перестал подпрыгивать и чуфыкать. Он присел низко на мостике у вершины елки, вытянул свою длинную шею вдоль сука и запел долгую, похожую на журчание ручейка песню. В ответ ему тут где-то вблизи сидящие на земле десятки таких же птиц, — тоже каждый петух, — вытянув шею, затянули ту же

самую песню. И тогда будто довольно уже большой ручей с бормотаньем побежал по невидимым камешкам.

Сколько раз мы, охотники, выждав темное утро, на зябкой заре с трепетом слушали это пение, стараясь по-своему понять, о чем поют петухи. И когда мы по-своему повторяли их бормотанья, то у нас выходило:

Круты перья,
Ур-гур-гу,
Круты перья
Обор-ву, оборву.

Так бормотали дружно тетерева, собираясь в то же время подраться. И когда они так бормотали, случилось небольшое событие в глубине еловой густой кроны. Там сидела на гнезде ворона и все время таилась там от Косача, токующего почти возле самого гнезда. Ворона очень бы желала прогнать Косача, но она боялась оставить гнездо и остудить на утреннем морозе яйца. Стерегущий гнездо ворон-самец в это время делал свой облет и, наверно встретив что-нибудь подозрительное, задержался. Ворона в ожидании самца залегла в гнезде, была тише воды, ниже травы. И вдруг, увидев летящего обратно самца, крикнула свое:

— Кра!

Это значило у нее:

— Выручай!

— Кра! — ответил самец в сторону тока в том смысле, что еще неизвестно, кто кому оборвет круты перья.

Самец, сразу поняв, в чем тут дело, спустился и сел на тот же мостик, возле елки, у самого гнезда, где Косач токовал, только поближе к сосне, и стал выжидать.

Косач в это время, не обращая на самца вороны никакого внимания, выкликнул свое, известное всем охотникам:

— Кар-кар-кекс!

И это было сигналом ко всеобщей драке всех токующих петухов. Ну и полетели во все-то стороны круты перья! И тут, как будто по тому же сигналу, ворон-самец мелкими шагами по мостику незаметно стал подбираться к Косачу.

Неподвижные, как изваяния, сидели на камне охотники за сладкой клюквой. Солнце, такое горячее и чистое, вышло против них над болотными елочками. Но

случилось на небе в это время одно облако. Оно явилось как холодная синяя стрелка и пересекло собой пополам восходящее солнце. В то же время вдруг ветер рванул еще раз, и тогда нажала сосна, и ель зарычала.

В это время, отдохнув на камне и согревшись в лучах солнца, Настя с Митрашей встали, чтобы продолжать дальше свой путь. Но у самого камня довольно широкая болотная тропа расходилась вилкой, одна, хорошая, плотная тропа, шла направо, другая, слабенькая, — прямо.

Проверив по компасу направление троп, Митраша, указывая слабую тропу, сказал:

— Нам надо по этой на север.

— Это не тропа! — ответила Настя.

— Вот еще! — рассердился Митраша. — Люди шли, — значит, тропа. Нам надо на север. Идем, и не разговаривай больше.

Насте было обидно подчиняться младшему Митраше.

— Кра! — крикнула в это время ворона в гнезде.

И ее самец мелкими шажками перебежал ближе к Косачу на полмостика.

Вторая круто-синяя стрелка пересекла солнце, и сверху стала надвигаться серая хмарь.

«Золотая Курочка» собралась с силами и попробовала уговорить своего друга.

— Смотри, — сказала она, — какая плотная моя тропа, тут все люди ходят. Неужели мы умней всех?

— Пусть ходят все люди, — решительно ответил упрямый «Мужичок в мешочке». — Мы должны идти по стрелке, как отец нас учил, на север, к палестинке.

— Отец нам сказки рассказывал, он шутил с нами, — сказала Настя. — И, наверно, на севере вовсе и нет никакой палестинки. Очень даже будет глупо нам по стрелке идти: как раз не на палестинку, а в самую Слепую елань угодим.

— Ну ладно, — резко повернул Митраша. — Я с тобой больше спорить не буду: ты иди по своей тропе, куда все бабы ходят за клюквой, я же пойду сам по себе, по своей тропке, на север.

И в самом деле пошел туда, не подумав ни о корзине для клюквы, ни о пище.

Насте бы надо было об этом напомнить ему, но она

так сама рассердилась, что вся красная, как кумач, плюнула вслед ему и пошла за клюквой по общей тропе.

— Кра! — закричала ворона.

И самец быстро перебежал по мостику остальной путь до Косача и со всей силой долбанул его. Как ошпаренный метнулся Косач к улетающим тетеревам, но разгневанный самец догнал его, вырвал, пустил по воздуху пучок белых и радужных перышек и погнал и погнал далеко.

Тогда серая хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце с его живительными лучами. Злой ветер очень резко рванул. Сплетенные корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями, на все Блудово болото зарычали, завыли, застонали.

V

Деревья так жалобно стонали, что из полуобвалившейся картофельной ямы возле сторожки Антипыча вылезла его гончая собака Травка и точно так же, в тон деревьям, жалобно завыла.

Зачем же надо было вылезать собаке так рано из теплого подвала и жалобно выть, отвечая деревьям?

Среди звуков стона, рычания, ворчания, воя в это утро у деревьев иногда выходило так, будто где-то горько плакал в лесу потерянный или покинутый ребенок.

Вот этот плач и не могла выносить Травка и, заслышав его, вылезала из ямы в ночь и в полночь. Этот плач сплетенных навеки деревьев не могла выносить собака: деревья животному напоминали о его собственном горе.

Уже целых два года прошло, как случилось ужасное несчастье в жизни Травки: умер обожаемый ею лесник, старый охотник Антипыч.

Мы с давних лет ездили к этому Антипычу на охоту, и старик, думается, сам позабыл, сколько ему было лет, все жил, жил в своей лесной сторожке, и казалось — он никогда не умрет.

— Сколько тебе лет, Антипыч? — спрашивали мы.— Восемьдесят?

— Мало, — отвечал он.

— Сто?

— Много.

Думая, что он это шутит с нами, а сам хорошо знает, мы спрашивали:

— Антипыч, ну брось свои шутки, скажи нам по правде: сколько же тебе лет?

— По правде, — отвечал старик, — я вам скажу, если вы вперед скажете мне, что есть правда, какая она, где живет и как ее найти.

Трудно было ответить нам.

— Ты, Антипыч, старше нас, — говорили мы, — и ты, наверно, сам лучше нас знаешь, где правда.

— Знаю, — усмехался Антипыч.

— Ну скажи.

— Нет, пока жив я, сказать не могу, вы сами ищите. Ну, а как умирать буду, приезжайте, я вам тогда на ушко перешепну всю правду. Приезжайте!

— Хорошо, приедем. А вдруг не угадаем, когда надо, и ты без нас помрешь?

Дедушка прищурился по-своему, как он всегда щурился, когда хотел посмеяться и пошутить.

— Деточки, вы, — сказал он, — не маленькие, пора бы самим знать, а вы все спрашиваете. Ну, ладно уж, когда помирать соберусь и вас тут не будет, я Травке своей перешепну. Травка! — позвал он.

В хату вошла большая рыжая собака с черным ремешком по всей спине. У нее под глазами были черные полоски с загибом вроде очков. И от этого глаза казались очень большими, и ими она спрашивала: «Зачем позвал меня, хозяин?»

Антипыч как-то особенно поглядел на нее, и собака сразу поняла человека: он звал ее по приятельству, по дружбе, ни для чего, а просто так, пошутить, поиграть. Травка замахала хвостом, стала снижаться на ногах все ниже, ниже и, когда подползла так к коленям старика, легла на спину и повернула вверх светлый живот с шестью парами черных сосков. Антипыч только руку протянул было, чтобы погладить ее, она как вдруг вскочит и лапами на плечи — и чмок и чмок его: и в нос, и в щеки, и в самые губы.

— Ну, будет, будет, — сказал он, успокаивая собаку и вытирая лицо рукавом.

Погладил ее по голове и сказал:

— Ну будет, теперь ступай к себе.

Травка повернулась и вышла на двор.

— То-то, ребята, — сказал Антипыч. — Вот Травка, собака гончая, с одного слова все понимает, а вы, глупенькие, спрашиваете, где правда живет. Ладно же, приезжайте. А упустите меня, Травке я все перешепну.

И вот умер Антипыч. Вскоре после этого началась Великая Отечественная война. Другого сторожа на место Антипыча не назначили, и сторожку его бросили. Очень ветхий был домик, старше много самого Антипыча, и держался уже на подпорках. Как-то раз без хозяина ветер поиграл с домиком, и он сразу весь развалился, как разваливается карточный домик от одного дыхания младенца. В один год высокая трава иван-чай проросла через бревнышки, и от всей избушки остался на лесной поляне холмик, покрытый красными цветами. А Травка переселилась в картофельную яму и стала жить в лесу, как и всякий зверь.

Только очень трудно было Травке привыкать к дикой жизни. Она гоняла зверей для Антипыча, своего великого и милостивого хозяина, но не для себя. Много раз случалось ей на гону поймать зайца. Подмяв его под себя, она ложилась и ждала, когда Антипыч придет, и, часто вовсе голодная, не позволяла себе есть зайца. Даже если Антипыч почему-нибудь не приходил, она брала зайца в зубы, высоко задирала голову, чтобы он не болтался, и тащила домой. Так она и работала на Антипыча, но не на себя: хозяин любил ее, кормил и берег от волков. А теперь, когда умер Антипыч, ей нужно было, как и всякому дикому зверю, жить для себя. Случалось, не один раз на жарком гону она забывала, что гонит зайца только для того, чтобы поймать его и съесть. До того забывалась Травка на такой охоте, что, поймав зайца, тащила его к Антипычу и тут иногда, услыхав стон деревьев, взбиралась на холм, бывший когда-то избушкой, и выла, и выла...

К этому вою давно уже прислушивается волк Серый помещик...

VI

Сторожка Антипыча была вовсе не далеко от Сухой речки, куда несколько лет тому назад, по заявке местных крестьян, приезжала наша волчья команда. Мест-

ные охотники проведали, что большой волчий выводок жил где-то на Сухой речке. Мы приехали помочь крестьянам и приступили к делу по всем правилам борьбы с хищным зверем.

Ночью, забравшись в Блудово болото, мы выли поволчьи и вызвали ответный вой всех волков на Сухой речке. И так мы точно узнали, где они живут и сколько их. Они жили в самых непроходимых завалах Сухой речки. Тут давным-давно вода боролась с деревьями за свою свободу, а деревья должны были закреплять берега. Вода победила, деревья попадали, а после того и сама вода разбежалась в болоте. Многими ярусами были навалены деревья и гнили. Сквозь деревья пробилась трава, лианы плюща завили частые молодые осинки. И так создалось крепкое место, или даже, можно сказать по-нашему, по-охотничьи, волчья крепость.

Определив место, где жили волки, мы обошли его на лыжах и по лыжнице, по кругу в три километра, развесили по кустикам на веревочке флаги, красные и пахучие. Красный цвет пугает волков, и запах кумача страшит, и особенно боязливо им бывает, если ветерок, пробегая сквозь лес, там и тут шевелит этими флагами.

Сколько у нас было стрелков, столько мы сделали ворот в непрерывном кругу этих флагов. Против каждых ворот становился где-нибудь за густой елочкой стрелок.

Осторожно покрикивая и постукивая палками, загонщики взбудили волков, и они сначала тихонько пошли в свою сторону. Впереди шла сама волчица, за ней — молодые переярки, и сзади, в стороне, отдельно и самостоятельно, — огромный лобастый матерый волк, известный крестьянам злодей, прозванный Серым помещиком.

Волки шли очень осторожно. Загонщики нажали. Волчица пошла на рысях. И вдруг...

Стоп! Флаги!

Она повернула в другую сторону и там тоже:

Стоп! Флаги!

Загонщики нажимали все ближе и ближе. Старая волчица потеряла волчий смысл и, ткнувшись туда-сюда, как придется, нашла себе выход и в самых воротцах была встречена выстрелом в голову всего в десятке шагов от охотника.

Так погибли все волки, но Серый не раз бывал в таких переделках и, услыхав первые выстрелы, махнул через флаги. На прыжке в него было пущено два заряда: один оторвал ему левое ухо, другой — половину хвоста.

Волки погибли, но Серый за одно лето порезал коров и овец не меньше, чем резала их раньше целая стая. Из-за кустика можжевельника он дожидался, когда отлучатся или уснут пастухи. И, определив нужный момент, врывался в стадо, и резал овец, и портил коров. После того, схватив себе одну овцу на спину, мчал ее, прыгая с овцой через изгороди к себе, в недоступное логовище на Сухой речке. Зимой, когда стада в поле не выходили, ему очень редко приходилось врываться в какой-нибудь скотный двор. Зимой он ловил больше собак в деревнях и питался почти только собаками. И до того обнаглел, что однажды, преследуя собаку, бегущую за санями хозяина, загнал ее в сани и вырвал ее прямо из рук хозяина.

Серый помещик сделался грозой края, и опять крестьяне приехали за нашей волчьей командой. Пять раз мы пытались его зафлажить, и все пять раз он у нас махал через флаги. И вот теперь, ранней весной, пережив суровую зиму в страшном холоде и голоде, Серый в своем логове дожидался с нетерпением, когда же наконец придет настоящая весна и затрубит деревенский пастух.

В то утро, когда дети между собой поссорились и пошли по разным тропам, Серый лежал, голодный и злой. Когда ветер замутил утро и завыли деревья возле Лежачего камня, он не выдержал и вылез из своего логова. Он стал над завалом, поднял голову, подобрал и так тощий живот, поставил единственное ухо на ветер, выпрямил половину хвоста и завыл.

Какой это жалобный вой! Но ты, прохожий человек, если услышишь и у тебя поднимется ответное чувство, не верь жалости: воет не собака, вернейший друг человека, — это волк, злейший враг его, самой злобой своей обреченный на гибель. Ты, прохожий, побереги свою жалость не для того, кто о себе воет, как волк, а для того, кто, как собака, потерявшая хозяина, воет, не зная, кому же теперь, после него, ей послужить.

VII

Сухая речка большим полукругом огибает Блудово болото. На одной стороне полукруга воет собака, на другой — воет волк. А ветер нажимает на деревья и разносит их вой и стон, вовсе не зная, кому он служит. Ему все равно, кто воет, дерево, собака — друг человека, или волк — злейший враг его, — лишь бы он выл. Ветер предательски доносит волку жалобный вой покинутой человеком собаки. И Серый, разобрав живой стон собаки от стона деревьев, тихонечко выбрался из завалов и с настороженным единственным ухом и прямой половинкой хвоста поднялся на взлобок. Тут, определив место воя возле Антиповой сторожки, с холма прямо на широких махах пустился в том направлении.

К счастью для Травки, сильный голод заставил ее прекратить свой печальный плач или, может быть, призыв к себе нового человека. Может быть, для нее, в ее собачьем понимании, Антипыч вовсе даже не умирал, а только отвернул от нее лицо свое. Может быть, она даже и так понимала, что весь человек — это и есть один Антипыч со множеством лиц. И если одно лицо его отвернулось, то, может быть, скоро ее позовет к себе опять тот же Антипыч, только с другим лицом, и она этому лицу будет так же верно служить, как тому...

Так-то скорее всего и было: Травка воем своим призывала к себе Антипыча.

И волк, услыхав эту ненавистную ему собачью «молитву» о человеке, пошел туда на махах. Повой она еще каких-нибудь минут пять, и Серый схватил бы ее. Но, «помолившись» Антипычу, она почувствовала сильный голод, она перестала звать Антипыча и пошла для себя искать заячий след.

Это было в то время года, когда ночное животное, заяц, не ложится при первом наступлении утра, чтобы весь день в страхе лежать с открытыми глазами. Весной заяц долго и при белом свете бродит открыто и смело по полям и дорогам. И вот один старый русак после ссоры детей пришел туда, где они разошлись, и тоже, как они, сел отдохнуть и прислушаться на Лежачем камне. Внезапный порыв ветра с воем деревьев испугал его, и он, прыгнув с Лежачего камня, побежал своими заячьими прыжками, бросая задние ножки вперед, пря-

мо к месту страшной для человека Слепой елани. Он еще хорошенько не вылинял и оставлял следы не только на земле, но еще развешивал зимнюю шерсточку на кустарнике и на старой, прошлогодней высокой траве.

С тех пор как заяц на камне посидел, прошло довольно времени, но Травка сразу причуяла след русака. Ей помешали погнаться за ним следы на камне двух маленьких людей и их корзины, пахнущие хлебом и вареной картошкой.

Так вот и стала перед Травкой задача трудная — решить: идти ли ей по следу русака на Слепую елань, куда тоже пошел след одного из маленьких людей, или же идти по человеческому следу, идущему вправо, в обход Слепой елани.

Трудный вопрос решился бы очень просто, если бы можно было понять, который из двух человечков понес с собой хлеб. Вот бы поесть этого хлебца немного и начать гон не для себя и принести зайца тому, кто даст хлеб.

Куда же идти, в какую сторону?..

У людей в таких случаях является раздумье, а про гончую собаку охотники говорят: собака скололась.

Так и Травка скололась. И, как всякая гончая, в таком случае начала делать круги с высоко поднятой головой, с чутьем, направленным и вверх, и вниз, и в стороны, и с пытливым напряжением глаз.

Вдруг порыв ветра с той стороны, куда пошла Настя, мгновенно остановил быстрый ход собаки по кругу. Травка, постояв немного, даже поднялась вверх на задние лапы, как заяц...

С ней было так однажды еще при жизни Антипыча. Была у лесника трудная работа в лесу по отпуску дров. Антипыч, чтобы не мешала ему Травка, привязал ее у дома. Рано утром, на рассвете, лесник ушел. Но только к обеду Травка догадалась, что цепь на другом конце привязана к железному крюку на толстой веревке. Поняв это, она стала на завалинку, поднялась на задние лапы, передними подтянула себе веревку и к вечеру перемяла ее. Сейчас же после того с цепью на шее она пустилась на поиски Антипыча. Больше полусуток истекло времени с тех пор, как Антипыч прошел, след его простыл и потом был смыт мелким моросливым дожди-

ком, похожим на росу. Но тишина весь день в лесу была такая, что за день ни одна струйка воздуха не переместилась и тончайшие пахучие частицы табачного дыма из трубки Антипыча повисали в неподвижном воздухе с утра и до вечера. Поняв сразу, что по следам найти невозможно Антипыча, сделав круг с высоко поднятой головой, Травка вдруг попала на табачную струю воздуха и по табаку мало-помалу, то теряя воздушный след, то опять встречаясь с ним, добралась-таки до хозяина.

Был такой случай. Теперь, когда ветер порывом сильным и резким принес в ее чутье подозрительный запах, она окаменела, выжидала. И когда ветер опять рванул, стала, как и тогда, на задние лапы по-заячьи и уверилась: хлеб или картошка были в той стороне, откуда ветер летел и куда ушел один из маленьких человечков.

Травка вернулась к Лежачему камню, проверила запах корзины на камне с тем, что ветер нанес. Потом она проверила след другого маленького человечка и тоже заячий след. Можно догадываться, она так и подумала:

«Заяц-русак пошел прямым следом на дневную лежку, он где-нибудь тут же, недалеко, возле Слепой елани; и лег на весь день и никуда не уйдет. А тот человечек с хлебом и картошкой может уйти. Да и какое же может быть сравнение — трудиться, надрываться, гоняя для себя зайца, чтобы разорвать его и сожрать самому, или же получить кусок хлеба и ласку от руки человека и, может быть, даже найти в нем Антипыча».

Поглядев еще раз внимательно в сторону прямого следа на Слепую елань, Травка окончательно повернулась в сторону тропы, обходящей Слепую елань с правой стороны, еще раз поднялась на задние лапы, уверясь, вильнула хвостом и рысью побежала туда.

VIII

Слепая елань, куда повела Митрашу стрелка компаса, было место погибельное, и тут на веках немало затянуло в болото людей и еще больше скота. И уж, конечно, всем, кто идет в Блудово болото, надо хорошо знать, что это такое Слепая елань.

Мы это так понимаем, что все Блудово болото, со всеми огромными запасами горючего, торфа, есть кладовая солнца. Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки. Всем им солнце отдавало свое тепло, и они, умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его, как наследство, другим растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам. Но в болотах вода не дает родителям-растениям передать все свое добро детям. Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца, как торф, достается человеку в наследство.

Блудово болото содержит огромные запасы горючего, но слой торфа не везде одинаковой толщины. Там, где сидели дети у Лежачего камня, растения слой за слоем ложились друг на друга тысячи лет. Тут был старейший пласт торфа, но дальше, чем ближе к Слепой елани, слой становился все моложе и тоньше.

Мало-помалу, по мере того как Митраша продвигался вперед по указанию стрелки и тропы, кочки под его ногами становились не просто мягкими, как раньше, а полужидкими. Ступит ногой как будто на твердое, а нога уходит и становится страшно: не совсем ли в пропасть уходит нога? Попадаются какие-то вертлявые кочки, приходится выбирать место, куда ногу поставить. А потом и так пошло, что ступишь, а у тебя под ногой от этого вдруг, как в животе, заурчит и побежит куда-то под болотом.

Земля под ногой стала как гамак, подвешенный над тинистой бездной. На этой подвижной земле, на тонком слое сплетенных между собой корнями и стеблями растений, стоят редкие, маленькие, корявые и заплесневелые елочки. Кислая болотная почва не дает им расти, и им, таким маленьким, лет уже по сто, а то и побольше... Елочки-старушки не как деревья в бору, все одинаковые: высокие, стройные, дерево к дереву, колонна к колонне, свеча к свече. Чем старше старушка на болоте, тем кажется чуднее. То вот одна голый сук подняла, как руку, чтобы обнять тебя на ходу, а у другой палка в руке, и она ждет тебя, чтобы хлопнуть, третья присела зачем-то, четвертая стоя вяжет чулок, и так все: что ни елочка, то непременно на что-то похожа.

Слой под ногами у Митраши становился все тоньше и тоньше, но растения, наверно, очень крепко сплелись и хорошо держали человека, и, качаясь и покачивая все далеко вокруг, он все шел и шел вперед. Митраше оставалось только верить тому человеку, кто шел впереди его и оставил даже тропу после себя.

Очень волновались старушки елки, пропуская между собой мальчика с длинным ружьем, в картузе с двумя козырьками. Бывает, одна вдруг поднимется, как будто хочет смельчака палкой ударить по голове, и закроет собой впереди всех других старушек. А потом опустится, и другая колдунья тянет к тропе костлявую руку. И ждешь — вот-вот, как в сказке, полянка покажется, и на ней избушка колдуньи с мертвыми головами на шестах.

Черный ворон, стерегущий свое гнездо на борине, облетая по сторожевому кругу болото, заметил маленького охотника с двойным козырьком. Весной и у ворона тоже является особый крик, похожий на то, как если человек крикнет горлом в нос: «Дрон-тон!» Есть непонятные и неуловимые нашим ухом оттенки в основном звуке, и оттого мы не можем понять разговор воронов, а только догадываемся, как глухонемые.

— Дрон-тон! — крикнул сторожевой ворон в том смысле, что какой-то маленький человек с двойным козырьком и ружьем близится к Слепой елани и что, может быть, скоро будет пожива.

— Дрон-тон! — ответила издали на гнезде ворон-самка.

И это означало у нее:

— Слышу и жду!

Сороки, состоящие с воронами в близком родстве, заметили перекличку воронов и застрекотали. И даже лисичка после неудачной охоты за мышами навострила ушки на крик ворона.

Митраша все это слышал, но ничуть не трусил, — что ему было трусить, если под его ногами тропа человеческая: шел такой же человек, как и он, — значит, и он сам, Митраша, мог по ней смело идти. И, услыхав ворона, он даже запел:

Ты не вейся, черный ворон,
Над моею головой.

Пение подбодрило его еще больше, и он даже смекнул, как ему сократить трудный путь по тропе. Поглядывая себе под ноги, он заметил, что нога его, опускаясь в грязь, сейчас же собирает туда, в ямку, воду. Так и каждый человек, проходя по тропе, спускал воду из мха пониже, и оттого на осушенной бровке, рядом с ручейком тропы, по ту и другую сторону, аллейкой вырастала высокая сладкая трава белоус. По этой, не желтого цвета, как всюду было теперь, ранней весной, а скорее цвета белого, траве можно было далеко впереди себя понять, где проходит тропа человеческая. Вот Митраша увидел: его тропа круто завертывает влево, и туда идет далеко, и там совсем исчезает. Он проверил по компасу, стрелка глядела на север, тропа уходила на запад.

— Чьи вы? — закричал в это время чибис.

— Жив, жив! — ответил кулик.

— Дрон-тон! — еще уверенней крикнул ворон.

И кругом в елочках затрещали сороки.

Оглядев местность, Митраша увидел прямо перед собой чистую, хорошую поляну, где кочки, постепенно снижаясь, переходили в совершенно ровное место. Но самое главное: он увидел, что совсем близко, по той стороне поляны, змеилась высокая трава белоус — неизменный спутник тропы человеческой. Узнавая по направлению белоуса тропу, идущую не прямо на север, Митраша подумал: «Зачем же я буду повертывать налево, на кочки, если тропа — вон рукой подать — виднеется там, за полянкой?»

И он смело пошел вперед, пересекая чистую полянку.

— Эх, вы! — бывало, говорил нам Антипыч, когда мы провалимся в болото, придем домой грязные, мокрые. — Ходите вы, ребята, одетые и обутые.

— А то как же? — спрашивали мы.

— Ходили бы, — отвечал он, — голенькие и разутые.

— Зачем же голенькие и разутые?

А он то-то над нами покатывался.

Так мы ничего и не понимали, чему смеялся старик.

Теперь только, через много лет, приходят в голову слова Антипыча, и все становится понятным; обращал к нам Антипыч эти слова, когда мы, ребятишки, задор-

но и уверенно посвистывая, говорили о том, чего еще вовсе не испытали.

Антипыч, предлагая ходить нам голенькими и разутыми, только не договаривал: «Не знавши броду, не лезьте в воду».

Так вот и Митраша. И благоразумная Настя предупреждала его. И трава белоус показывала направление обхода елани. Нет! Не знавши броду, оставил выбитую тропу человеческую и прямо полез в Слепую елань. А между тем тут-то вот именно, на этой полянке, вовсе прекращалось сплетение растений, тут была елань, то же самое, что зимой в пруду прорубь. В обыкновенной елани всегда бывает видна хоть чуть-чуть водица, прикрытая белыми прекрасными купавами, водяными лилиями. Вот за то эта елань называлась Слепою, что по виду ее было невозможно узнать.

Митраша по елани шел вначале лучше, чем даже раньше по болоту. Постепенно, однако, нога его стала утопать все глубже и глубже, и становилось все труднее и труднее вытаскивать ее обратно. Тут лосю хорошо, у него страшная сила в длинной ноге, и, главное, он не задумывается и мчится одинаково и в лесу и в болоте. Но Митраша, почуяв опасность, остановился и призадумался над своим положением. В один миг остановки он погрузился по колено, в другой миг ему стало выше колена. Он еще мог бы, сделав усилие, вырваться из елани обратно. И надумал было он повернуться, положить ружье на болото и, опираясь на него, выскочить. Но тут же, совсем недалеко от себя, впереди, увидел высокую белую траву на следу человеческом.

— Перескочу, — сказал он.

И рванулся.

Но было уж поздно. Сгоряча, как раненый, — пропадать — так уж пропадать, — на авось, рванулся еще, и еще, и еще. И почувствовал себя плотно охваченным со всех сторон по самую грудь. Теперь даже и сильно дыхнуть ему нельзя было: при малейшем движении его тянуло вниз, он мог сделать только одно: положить плашмя ружье на болото и, опираясь на него двумя руками, не шевелиться и успокоить поскорее дыхание. Так он и сделал: снял с себя ружье, положил его перед собой, оперся на него той и другой рукой.

Внезапный порыв ветра принес ему пронзительный Настин крик:

— Митраша!

Он ей ответил.

Но ветер был с той стороны, где Настя. И уносил его крик в другую сторону Блудова болота, на запад, где без конца были только елочки. Одни сороки отозвались ему и, перелетая с елочки на елочку с обычным их тревожным стрекотанием, мало-помалу окружили всю Слепую елань и, сидя на верхних пальчиках елок, тонкие, носатые, длиннохвостые, стали трещать, одни вроде:

— Дри-ти-ти!

Другие:

— Дра-та-та!

— Дрон-тон! — крикнул ворон сверху.

И очень умные на всякое поганое дело сороки смекнули о полном бессилии погруженного в болото маленького человечка. Они соскочили с верхних пальчико елок на землю и с разных сторон начали прыжками свое сорочье наступление.

Маленький человечек с двойным козырьком кричать перестал. По его загорелому лицу, по щекам блестящими ручейками потекли слезы.

IX

Кто никогда не видал, как растет клюква, тот может очень долго идти по болоту и не замечать, что он по клюкве идет. Вот взять ягоду чернику, — та растет, и ее видишь: стебелечек тоненький тянется вверх, по стебельку, как крылышки, в разные стороны зеленые маленькие листики, и у листиков сидят мелким горошком чернички, черные ягодки с синим пушком. Так же брусника, кровяно-красная ягода, листики темно-зеленые, плотные, не желтеют даже под снегом, и так много бывает ягоды, что место, кажется, кровью полито. Еще растет в болоте голубика кустиком, ягода голубая, более крупная, не пройдешь, не заметив. В глухих местах, где живет огромная птица глухарь, встречается костяника, красно-рубиновая ягода кисточкой, и каждый рубинчик в зеленой оправе. Только у нас одна-единственная ягода клюква, особенно ранней весной, прячется

в болотной кочке и почти невидима сверху. Только уж когда очень много ее соберется на одном месте, заметишь сверху и подумаешь: «Вот кто-то клюкву рассыпал». Наклонишься взять одну, попробовать и тянешь вместе с одной ягодинкой зеленую ниточку со многими клюквинками. Захочешь — и можешь вытянуть себе из кочки целое ожерелье крупных кровяно-красных ягод.

То ли что клюква — ягода дорогая весной, то ли что полезная и целебная и что чай с ней хорошо пить, только жадность при сборе ее развивается страшная. Одна старушка у нас набрала такую корзину, что и поднять не могла. И отсыпать ягоду или вовсе бросить корзину тоже не посмела. Да так и померла возле полной корзины.

А то бывает, женщина нападет на ягоду и, оглядев кругом — не видит ли кто, — приляжет к земле на болото и ползет.

Вначале Настя срывала с плети каждую ягодку отдельно, за каждой красненькой наклонялась к земле. Но скоро из-за одной ягодки наклоняться перестала: ей больше хотелось.

Она стала уже теперь догадываться, где не одну-две ягодки можно взять, а целую горсточку, и стала наклоняться только за горсточкой. Так она ссыпает горсточку за горсточкой, все чаще и чаще, а хочется все больше и больше.

Бывало, раньше дома часу не поработает Настенька, чтобы не вспомнился брат, чтобы не захотелось с ним перекликнуться. А вот теперь он ушел один неизвестно куда, а она и не помнит, что ведь хлеб-то у нее, что любимый брат там где-то, в темном болоте, голодный идет. Да она и о себе самой забыла и помнит только о клюкве, и ей хочется все больше и больше.

Из-за чего же ведь и весь сыр-бор загорелся у нее при сборе с Митрашей: именно, что ей хотелось идти по набитой тропе. А теперь, следуя ощупью за клюквой, куда клюква ведет, туда и она, Настя незаметно сошла с набитой тропы.

Было только один раз вроде пробуждения: она вдруг поняла, что где-то сошла с тропы. Повернула туда, где, показалось, проходила тропа, но там тропы не было. Она бросилась было в другую сторону, где маячили два дерева сухие с голыми сучьями — там тоже тропы не

было. Тут-то бы, к случаю, и вспомнить ей про компас, как о нем говорил Митраша, и своего-то брата, своего любимого, вспомнить, что он голодный идет, и, вспомнив, перекликнуться с ним...

И только-только бы вспомнить, как вдруг Настенька увидела такое, что не всякой клюквеннице достается хоть раз в жизни своей увидеть...

В споре своем, по какой тропке идти, дети одного не знали, что большая тропа и малая, огибая Слепую елань, обе сходились на Сухой речке и там, за Сухой, больше уже не расходясь, в конце концов выводили на большую Переславскую дорогу. Большим полукругом Настина тропа огибала по суходолу Слепую елань. Митрашина тропа шла напрямик возле самого края елани. Не сплошай он, не упусти из виду траву белоус на тропе человеческой, он давным-давно бы уже был на том месте, куда пришла только теперь Настя. И это место, спрятанное между кустиками можжевельника, и было как раз той самой палестинкой, куда Митраша стремился по компасу. Приди сюда Митраша голодный и без корзины, что бы ему было тут делать, на этой палестинке кроваво-красного цвета?

На палестинку пришла Настя с большой корзиной, с большим запасом продовольствия, забытым и покрытым кислой ягодой.

И опять бы девочке, похожей на Золотую Курочку на высоких ножках, подумать при радостной встрече с палестинкой о брате своем и крикнуть ему:

— Милый друг, мы пришли!

Ах, ворон, ворон, вещая птица! Живешь ты, может быть, сам триста лет, и кто породил тебя, тот в яичке своем пересказал все, что он тоже узнал за свои триста лет жизни. И так от ворона к ворону переходила память о всем, что было в этом болоте за тысячу лет. Сколько же ты, ворон, видел и знаешь, и отчего ты хоть один раз не выйдешь из своего вороньего круга и не перенесешь на своих могучих крыльях весточку о погибающем брате?!

Ты бы, ворон, сказал им...

— Дрон-тон! — крикнул ворон, пролетая над самой головой погибающего человека.

— Слышу, — тоже в таком же «дрон-тон» ответила

ему на гнезде ворониха, — только успей, урви чего-нибудь, пока его совсем не затянуло болото.

— Дрон-тон! — крикнул второй раз ворон-самец над девочкой, ползающей почти рядом с погибающим братом по мокрому болоту. И это «дрон-тон» у ворона значило, что от этой ползающей девочки вороновой семье, может быть, еще больше достанется.

На самой середине палестинки не было клюквы. Тут выдался холмистой куртинкой частый осинник, и в нем стоял рогатый великан лось. Посмотреть на него с одной стороны — покажется, он похож на быка, посмотреть с другой — лошадь и лошадь: и стройное тело, и стройные ноги, сухие, и мурло с тонкими ноздрями. Но как выгнуто это мурло, какие глаза и какие рога! Смотришь и думаешь: а может быть, и нет ничего — ни быка, ни коня, а так складывается что-то большое, серое, в частом сером осиннике. Но как же складывается из осинника, если вот ясно видно, как толстые губы чудовища пришлепнулись к дереву и на нежной осинке остается узкая белая полоска: это чудовище так кормится. Да почти и на всех осинках виднеются такие загрызы. Нет, не видение в болоте эта громадина. Но как понять, что на осиновой корочке и лепестках болотного трилистника может вырасти такое большое тело? Откуда же у человека при его могуществе берется жадность даже к кислой ягоде клюкве?

Лось, обирая осинку, с высоты своей спокойно глядит на ползущую девочку.

Ничего не видя, кроме своей клюквы, ползет она и ползет к большому черному пню. Еле передвигает за собой корзинку, вся мокрая и грязная, прежняя Золотая Курочка на высоких ножках.

Лось ее и за человека не считает: у нее все повадки обычных зверей, на каких он смотрит равнодушно, как мы на бездушные камни.

А большой черный пень собирает в себя лучи солнца и сильно нагревается. Вот уже начинает вечереть, воздух и все кругом охлаждается. Но пень, черный и большой, еще сохраняет тепло. На него выползли из болота и припали к теплу шесть маленьких ящериц; четыре бабочки-лимонницы, сложив крылышки, припали усиками; большие черные мухи прилетели ночевать. Длинная клюквенная плеть, цепляясь за стебельки трав и неров-

ности, оплела черный теплый пень и, сделав на самом верху несколько оборотов, спустилась по ту сторону. Ядовитые змеи-гадюки в это время года стерегут тепло, и одна, громадная, в полметра длиной, вползла на пень и свернулась колечком на клюкве.

А девочка тоже ползла по болоту, не поднимая вверх высоко головы. И так она приползла к горелому пню и дернула за самую плеть, где лежала змея. Гадина подняла голову и зашипела. И Настя тоже подняла голову.

Тогда-то наконец Настя очнулась, вскочила, и лось, узнав в ней человека, прыгнул из осинника и, выбрасывая вперед сильные, длинные ноги-ходули, помчался легко по вязкому болоту, как мчится по сухой тропинке заяц-русак.

Испуганная лосем, Настенька изумленно смотрела на змею: гадюка по-прежнему лежала, свернувшись колечком в теплом луче солнца. Насте представилось, будто это она сама осталась там, на пне, и теперь вышла из шкуры змеиной и стоит, не понимая, где она.

Совсем недалеко стояла и смотрела на нее большая рыжая собака с черными ремешками на спине. Собака эта была Травка. И Настя даже вспомнила ее: Антипыч не раз приходил с ней в село. Но кличку собаки вспомнить она не могла верно и крикнула ей:

— Муравка, Муравка, я дам тебе хлебца!

И потянулась к корзинке за хлебом. Доверху корзина была наполнена, и под клюквой был хлеб.

Сколько же времени прошло, сколько клюквинок легло с утра до вечера, пока огромная корзина наполнилась? Где же был за это время брат голодный и как она забыла о нем, как она сама забыла себя и все вокруг?

Она опять поглядела на пень, где лежала змея, и вдруг пронзительно закричала:

— Братец, Митраша!

И, рыдая, упала возле корзины, наполненной клюквой.

Вот этот пронзительный крик и долетел тогда до елани, и Митраша это слышал и ответил, но порыв ветра тогда унес крик в другую сторону.

X

Тот сильный порыв ветра, когда крикнула бедная Настя, был еще не последним перед тишиной вечерней зари. Солнце в это время проходило вниз через толстое облако и выбросило оттуда на землю золотые ножки своего трона.

И тот порыв был еще не последним, когда в ответ на крик Насти закричал Митраша.

Последний порыв был, когда солнце погрузило как будто под землю золотые ножки своего трона и, большое, чистое, красное, нижним краешком своим коснулось земли. Тогда на суходоле запел свою милую песенку маленький певчий дрозд-белобровик. Несмело возле Лежачего камня на успокоенных деревьях затоковал Косач-токовик. И журавли прокричали три раза, не как утром — «победа», а вроде как бы:

— Спите, но помните: мы вас всех скоро разбудим, разбудим, разбудим!

День кончился не порывом ветра, а последним легким дыханием. Тогда наступила полная тишина, и везде стало все слышно, даже как пересвистывались рябчики в зарослях Сухой речки.

В это время, почуяв беду человеческую, Травка подошла к рыдающей Насте и лизнула ее в соленую от слез щеку. Настя подняла было голову, поглядела на собаку и так, ничего не сказав ей, опустила голову обратно и положила ее прямо на ягоду. Сквозь клюкву Травка явственно чуяла хлеб, и ей ужасно хотелось есть, но позволить себе копаться лапами в клюкве она никак не могла. Вместо этого, чуя беду человеческую, она подняла высоко голову и завыла.

Мы как-то раз, помнится, давным-давно тоже так под вечер ехали, как в старину было, лесной дорогой на тройке с колокольчиком. И вдруг ямщик осадил тройку, колокольчик замолчал, и, вслушиваясь, ямщик нам сказал:

— Беда!

Мы сами что-то услыхали.

— Что это?

— Беда какая-то: собака воет в лесу.

Мы тогда так и не узнали, какая была беда. Может

быть, тоже где-то в болоте тонул человек, и, провожая его, выла собака, верный друг человека.

В полной тишине, когда выла Травка, Серый сразу понял, что это было на палестинке, и скорей, скорей замахал туда напрямик.

Только очень скоро Травка выть перестала. И Серый остановился переждать, когда вой снова начнется.

А Травка в это время сама услышала в стороне Лежачего камня знакомый тоненький и редкий голосок:

— Тяв, тяв!

И сразу поняла, конечно, что это тявкала лисица по зайцу. И то, конечно, она поняла — лисица нашла след того же самого зайца-русака, что и она понюхала там, на Лежачем камне. И то поняла, что лисице без хитрости никогда не догнать зайца и тявкает она, только чтобы он бежал и морился, а когда уморится и ляжет, тут-то она и схватит его на лежке. С Травкой после Антипыча так не раз бывало при добывании зайца для пищи. Услыхав такую лисицу, Травка охотилась по волчьему способу: как волк на гону молча становится на круг и, выждав ревущую по зайцу собаку, ловит ее, так и она, затаиваясь, из-под гона лисицы зайца ловила.

Выслушав гон лисицы, Травка точно так же, как и мы, охотники, поняла круг пробега зайца: от Лежачего камня заяц бежал на Слепую елань и оттуда на Сухую речку, оттуда долго полукругом на палестинку и опять непременно к Лежачему камню. Поняв это, она прибежала к Лежачему камню и затаилась тут в густом кусту можжевельника.

Недолго пришлось Травке ждать. Тонким слухом своим она услыхала недоступное человеческому слуху чвяканье заячьей лапы по лужицам на болотной тропе. Лужицы эти выступили на утренних следах Насти. Русак непременно должен был сейчас показаться у самого Лежачего камня.

Травка за кустом можжевельника присела и напружинила задние лапы для могучего броска и, когда увидела уши, бросилась.

Как раз в это время заяц, большой, старый, матерый русак, ковыляя еле-еле, вздумал внезапно остановиться и, даже привстав на задние ноги, послушать, далеко ли тявкает лисица.

Так вот одновременно сошлись: Травка бросилась, а заяц остановился.

И Травку перенесло через зайца.

Пока собака выправлялась, заяц огромными скачками летел уже по Митрашиной тропе прямо на Слепую елань.

Тогда волчий способ охоты не удался: до темноты нельзя было ждать возвращения зайца. И Травка своим собачьим способом бросилась вслед зайцу и, взвизгнув заливисто, мерным, ровным собачьим лаем наполнила всю вечернюю тишину.

Услыхав собаку, лисичка, конечно, сейчас же бросила охоту за русаком и занялась повседневной охотой на мышей... А Серый, наконец-то услышав долгожданный лай собаки, понесся на махах в направлении Слепой елани.

XI

Сороки на Слепой елани, услыхав приближение зайца, разделились на две партии: одни остались при маленьком человечке и кричали:

— Дри-ти-ти!

Другие кричали по зайцу:

— Дра-та-та!

Трудно разобраться и догадаться в этой сорочьей тревоге. Сказать, что они зовут на помощь, — какая тут помощь! Если на сорочий крик придет человек или собака, сорокам же ничего не достанется. Сказать, что они созывают своим криком все сорочье племя на кровавый пир? Разве что так...

— Дри-ти-ти! — кричали сороки, подскакивая ближе и ближе к маленькому человечку.

Но подскочить совсем не могли: ручки у человечка были свободны. И вдруг сороки смешались, одна и та же сорока то дрикнет на «и», то дрикнет на «а».

Это значило, что на Слепую елань заяц подходит.

Этот русак уже не один раз увертывался от Травки и хорошо знал, что гончая зайца догоняет и что, значит, надо действовать хитростью. Вот почему перед самой еланью, не доходя маленького человека, он остановился и возбудил всех сорок. Все они расселись по верхним пальчикам елок, и все закричали по зайцу:

— Дра-та-та!

Но зайцы почему-то этому крику не придают значения и выделывают свои скидки, не обращая на сорок никакого внимания. Вот почему и думается иной раз, что ни к чему это сорочье стрекотанье и так это они, вроде как и люди, иногда от скуки в болтовне просто время проводят.

Заяц, чуть-чуть постояв, сделал свой первый огромный прыжок, или, как охотники говорят, свою скидку, — в одну сторону, постояв там, скинулся в другую и через десяток малых прыжков — в третью и там лег глазами к своему следу на тот случай, что если Травка разберется в скидках, придет и к третьей скидке, так чтобы можно было вперед увидеть ее...

Да, конечно, умен, умен заяц, но все-таки эти скидки — опасное дело: умная гончая тоже понимает, что заяц всегда глядит в свой след, и так исхитряется взять направление на скидках, не по следам, а прямо по воздуху, верхним чутьем.

И как же, значит, бьется сердчишко у зайчишки, когда он слышит — лай собаки прекратился, собака скололась и начала делать у места скола молча свой страшный круг...

Зайцу повезло на этот раз. Он понял: собака, начав делать свой круг по елани, с чем-то там встретилась, и вдруг там явственно послышался голос человека и поднялся страшный шум...

Можно догадаться, — заяц, услыхав непонятный шум, сказал себе что-нибудь вроде нашего: «Подальше от греха» — и, ковыль-ковыль, тихонечно вышел на обратный след к Лежачему камню.

А Травка, разлетевшись на елани по зайцу, вдруг в десяти шагах от себя глаза в глаза увидела маленького человечка и, забыв о зайце, остановилась как вкопанная.

Что думала Травка, глядя на маленького человечка в елани, можно легко догадаться. Ведь это для нас все мы разные. Для Травки все люди были как два человека — один Антипыч с разными лицами и другой человек — это враг Антипыча. И вот почему хорошая, умная собака не подходит сразу к человеку, а становится и узнает, ее это хозяин или враг его.

Так вот и стояла Травка и глядела в лицо маленького человека, освещенного последним лучом заходящего солнца.

Глаза у маленького человека были сначала тусклые, мертвые, но вдруг в них загорелся огонек, и вот это заметила Травка.

«Скорее всего это Антипыч», — подумала Травка.

И чуть-чуть, еле заметно вильнула хвостом.

Мы, конечно, не можем знать, как думала Травка, узнавая своего Антипыча, но догадываться, конечно, можно. Вы помните, бывало ли с вами так? Бывает, наклонишься в лесу к тихой заводи ручья и там, как в зеркале, увидишь — весь-то, весь человек, большой, прекрасный, как для Травки Антипыч, из-за твоей спины наклонился и тоже смотрит в заводь, как в зеркало. И так он прекрасен там, в зеркале, со всею природой, с облаками, лесами, и солнышко там внизу тоже садится, и молодой месяц показывается и частые звездочки.

Так вот точно, наверно, и Травке в каждом лице человека, как в зеркале, виделся весь человек Антипыч, и к каждому стремилась она броситься на шею, но по опыту своему она знала: есть враг Антипыча с точно таким же лицом. И она ждала.

А лапы ее между тем понемногу тоже засасывало; если так дальше стоять, то и собачьи лапы так засосет, что и не вытащишь. Ждать больше нельзя.

И вдруг...

Ни гром, ни молния, ни солнечный восход со всеми победными звуками, ни закат с журавлиным обещанием нового прекрасного дня — ничто, никакое чудо природы не могло быть больше того, что случилось сейчас для Травки в болоте: она услышала слово человеческое — и какое слово!

Антипыч, как большой, настоящий охотник, назвал свою собаку вначале, конечно, по-охотничьи — от слова *травить,* и наша Травка вначале у него называлась Затравка; но после охотничья кличка на языке оболталась, и вышло прекрасное имя Травка. В последний раз, когда приходил к нам Антипыч, собака его называлась еще Затравка. И когда загорелся огонек в глазах маленького человека, это значило, что Митраша вспомнил

имя собаки. Потом омертвелые, синеющие губы маленького человека стали наливаться кровью, краснеть, зашевелились. Вот это движение губ Травка заметила и второй раз чуть-чуть вильнула хвостом. И тогда произошло настоящее чудо в понимании Травки. Точно так же, как старый Антипыч в самое старое время, новый молодой и маленький Антипыч сказал:

— Затравка!

Узнав Антипыча, Травка мгновенно легла.

— Ну, ну!— сказал Антипыч.— Иди ко мне, умница!

И Травка в ответ на слово человека тихонечко поползла.

Но маленький человек звал ее и манил сейчас не совсем от чистого сердца, как думала, наверно, сама Травка. У маленького человека в словах не только дружба и радость была, как думала Травка, а тоже таился и хитрый план своего спасения. Если бы он мог пересказать ей понятно свой план, с какой радостью бросилась бы она его спасать. Но он не мог сделать себя для нее понятным и должен был обманывать ее ласковым словом. Ему даже надо было, чтобы она его боялась, а то если бы она его не боялась, не чувствовала хорошего страха перед могуществом великого Антипыча и по-собачьи со всех ног бросилась бы ему на шею, то неминуемо болото бы затащило в свои недра человека и его друга — собаку. Маленький человек просто не мог быть сейчас великим человеком, какой мерещился Травке. Маленький человек принужден был хитрить.

— Затравушка, милая Затравушка! — ласкал он ее сладким голосом.

А сам думал:

«Ну, ползи, только ползи!»

И собака, своей чистой душой подозревая что-то не совсем чистое в ясных словах Антипыча, ползла с остановками.

— Ну, голубушка, еще, еще!

А сам думал:

«Ползи только, ползи».

И вот понемногу она подползла. Он мог бы уже и теперь, опираясь на распластанное на болоте ружье, наклониться немного вперед, протянуть руку, погладить

по голове. Но маленький хитрый человек знал, что от одного его малейшего прикосновения собака с визгом радости бросится на него и утопит.

И маленький человек остановил в себе большое сердце. Он замер в точном расчете движения, как боец в определяющем исход борьбы ударе: жить ему или умереть.

Вот еще бы маленький ползок по земле, и Травка бы бросилась на шею человека, но в расчете своем маленький человек не ошибся: мгновенно он выбросил свою правую руку вперед и схватил большую, сильную собаку за левую заднюю ногу.

Так неужели же враг человека так мог обмануть?

Травка с безумной силой рванулась, и она бы вырвалась из руки маленького человека, если бы тот, уже достаточно выволоченный, не схватил другой рукой ее за другую ногу. Мгновенно вслед за тем он лег животом на ружье, выпустил собаку и на четвереньках сам, как собака, переставляя опору-ружье все вперед и вперед, подполз к тропе, где постоянно ходил человек и где от ног его по краям росла высокая трава белоус. Тут, на тропе, он поднялся, тут он отер последние слезы с лица, отряхнул грязь с лохмотьев своих и, как настоящий большой человек, властно приказал:

— Иди же теперь ко мне, моя Затравка!

Услыхав такой голос, такие слова, Травка бросила все свои колебания: перед ней стоял прежний, прекрасный Антипыч. С визгом радости, узнав хозяина, кинулась она ему на шею, и человек целовал своего друга и в нос, и в глаза, и в уши.

Не пора ли сказать теперь уж, как мы сами думаем о загадочных словах нашего старого лесника Антипыча, когда он обещал перешепнуть свою правду собаке, если мы сами его не застанем живым? Мы думаем, Антипыч не совсем в шутку об этом сказал. Очень может быть, тот Антипыч, как Травка его понимает, или, по-нашему, весь человек в древнем прошлом его, перешепнул своему другу-собаке какую-то свою большую человеческую правду, и мы думаем: эта правда есть правда вековечной суровой борьбы людей за любовь.

XII

Нам теперь остается уже не много досказать о всех событиях этого большого дня в Блудовом болоте. День, как ни долог был, еще не совсем кончился, когда Митраша выбрался из елани с помощью Травки. После бурной радости от встречи с Антипычем деловая Травка сейчас же вспомнила свой первый гон по зайцу. И понятно: Травка — гончая собака, и дело ее — гонять для себя, но для хозяина Антипыча поймать зайца — это все ее счастье. Узнав теперь в Митраше Антипыча, она продолжала свой прерванный круг и вскоре попала на выходной след русака и по этому свежему следу сразу пошла с голосом.

Голодный Митраша, еле живой, сразу понял, что все спасение его будет в этом зайце, что если он убьет зайца, то огонь добудет выстрелом, и, как не раз бывало при отце, испечет зайца в горячей золе. Осмотрев ружье, переменив подмокшие патроны, он вышел на круг и притаился в кусту можжевельника.

Еще хорошо можно было видеть на ружье мушку, когда Травка завернула зайца от Лежачего камня на большую Настину тропу, выгнала на палестинку, направила его отсюда на куст можжевельника, где таился охотник. Но тут случилось, что Серый, услыхав возобновленный гон собаки, выбрал себе как раз тот самый куст можжевельника, где таился охотник, и два охотника, человек и злейший враг его, встретились. Увидев серую морду от себя в пяти каких-то шагах, Митраша забыл о зайце и выстрелил почти в упор.

Серый помещик окончил жизнь свою без всяких мучений.

Гон был, конечно, сбит этим выстрелом, но Травка дело свое продолжала. Самое же главное, самое счастливое был не заяц, не волк, а что Настя, услыхав близкий выстрел, закричала, Митраша узнал ее голос, ответил, и она вмиг к нему прибежала. После того вскоре и Травка принесла русака своему новому, молодому Антипычу, и друзья стали греться у костра, готовить себе еду и ночлег.

Настя и Митраша жили от нас через дом, и когда утром заревела у них на дворе голодная скотина, мы

первые пришли посмотреть, не случилось ли какой беды у детей. Мы сразу поняли, что дети дома не ночевали и скорее всего заблудились в болоте. Собрались мало-помалу и другие соседи, стали думать, как нам выручить детей, если они еще только живы. И только собрались было рассыпаться по болоту во все стороны — глядим: а охотники за сладкой клюквой идут из леса гуськом, и на плечах у них шест с тяжелой корзиной, и рядом с ними Травка, собака Антипыча.

Они рассказали нам во всех подробностях обо всем, что с ними случилось в Блудовом болоте. И всему у нас поверили: неслыханный сбор клюквы был налицо. Но не все могли поверить, что мальчик на одиннадцатом году жизни мог убить старого хитрого волка. Однако несколько человек из них, кто поверил, с веревкой и большими санками отправились на указанное место и вскоре привезли мертвого Серого помещика. Тогда все в селе на время бросили свои дела и собрались, и даже не только из своего села, а даже из соседних деревень. Сколько тут было разговоров! И трудно сказать, на кого больше глядели, — на волка или на охотника в картузе с двойным козырьком. Когда переводили глаза с волка, говорили:

— А вот смеялись, дразнили: «Мужичок в мешочке»!

И тогда незаметно для всех прежний «Мужичок в мешочке» правда стал переменяться, и за следующие два года войны вытянулся, и какой из него парень вышел — высокий, стройный. И стать бы ему непременно героем Отечественной войны, да вот только война-то кончилась.

А Золотая Курочка тоже всех удивила в селе. Никто ее в жадности, как мы, не упрекал, напротив, все одобряли, и что так она благоразумно звала брата на торную тропу, и что так много набрала клюквы. Но когда из детдома эвакуированных ленинградских детей обратились в село за посильной помощью больным детям, Настя отдала им всю свою целебную ягоду. Тут-то вот мы, войдя в доверие девочки, узнали от нее, как мучилась она про себя за свою жадность.

Нам остается теперь сказать еще несколько слов о себе: кто мы такие и зачем попали в Блудово болото. Мы — разведчики болотных богатств. Еще с первых

дней Отечественной войны работали над подготовкой болота для добывания в нем горючего — торфа. И мы дознались, что торфа в этом болоте хватит для работы большой фабрики лет на сто. Вот какие богатства скрыты в наших болотах! А многие до сих пор только и знают об этих великих кладовых солнца, что в них будто бы черти живут: все это вздор, и никаких нет в болоте чертей.

1945

СОДЕРЖАНИЕ

Пришвин Михаил Михайлович

В КРАЮ ДЕДУШКИ МАЗАЯ

(для среднего школьного возраста)

Редактор В. К. Лиханова

Оформление Р. С. Климова
Художественный редактор В. С. Вежливцев
Технический редактор Н. Б. Буйновская
Младший редактор В. И. Пригодина
Корректоры Н. К. Галкина, Н. С. Дурасова

Сдано в набор 2.02.81 г. Подписано в печать 30.03.81. г.
Форм. бум. 84×108/32 (бум. тип. № 3). Литературная гарн.
Высокая печать. Физ. печ. л. 5,0. Усл. печ. л. 8,4. Уч.-изд. л. 8,18.
Тираж 300 000 (3-й завод 40001—80000). Заказ 5360. Цена 35 коп.

Северо-Западное книжное издательство,
Архангельск, пр. П. Виноградова, 61.

Типография им. Склепина издательства Архангельского
обкома КПСС, Архангельск, набережная В. И. Ленина, 86.



35 коп.